

Уиллард ван Орман Куайн (1908-2002).

Лекция, прочитанная Печенкиным А.А., которая должна была бы носить название “Эмпирический конструктивизм”

Куайн особая фигура в американской философии. Он как бы синтезировал в своей работе множество подходов существовавших в философии науки того времени, когда Куайн начинал работать. Это американский прагматизм в версии Дьюи и аналитическая философия. Кроме того, Куайн считал себя натуралистом, т.е. экстраполировал методы изучения законов природы на методы изучения законов развития научного знания, а также использовал методы естествознания для изучения и объяснения эпистемологии. Кроме того, Куайн скептик и релятивист, поскольку утверждал относительность нашего знания, как такового.

В своей лекции Печенкин рассматривал (если так можно выразиться) две работы Куайна (обе есть на русском языке и даны в приложении к лекции):

- 1) Две догмы эмпиризма.
- 2) Онтологическая относительность.

Эти две работы являются вехами в развитии философии науки и, как следствие, в работах иных авторов можно найти многочисленные ссылки на эти две статьи.

«Две догмы эмпиризма»

В современном ему эмпиризме Куайн выделяет две догмы: 1) наличие фундаментального различия между аналитическими и синтетическими суждениями; 2) редукционизм, который состоит в убеждении, что всякое осмысленное высказывание может быть выражено логической конструкцией, состоящей из терминов, отсылающих непосредственно к опыту.

1-я догма отсылает непосредственно к Лейбницу и Канту. Как известно Кант в своей «Критике чистого разума» провел различие между аналитическими и синтетическими суждениями. Под первыми (аналитическими) он имел в виду суждения, в которых предикат приписывает субъекту то, что уже концептуально содержится в субъекте (Пример: тела протяженны), то есть аналитическое суждения не дает нам нового знания о предмете. В отличие от аналитического в синтетическом суждении предикат приписывает субъекту некое новое свойство, обладание которым не следует из факта существования субъекта. (Пример: вещи тяжелы) Синтетические высказывания содержат некую новую информацию.

Безусловно о времен Канта философия изменилась, и теперь к аналитическим суждениям относят суждения типа: 7-простое число, если $A > B$, то $B < A$, и т.д.

Философия исходит из существования формальных языков, которые являются моделями для построения научных языков. Создавая формальный язык, мы создаем совокупность аналитических высказываний, т.е. высказываний, истинность которых непосредственно следует из самого языка, в котором они были сформулированы.

Синтетические же высказывания касаются фактов.

2-я догма – редукционизм. Эта догма нашла выражения в деятельности ранних неопозитивистов, которые декларировали возможность представить все научное знание в виде совокупности протокольных выражений, представляющих факты. Эти протокольные выражения должны были быть связаны логическими связками (и, или).

Позже произошел отказ от столь явного редукционизма, в пользу опосредованного. Опосредованный редукционизм заключался в признании некоего значения и за общими теориями в деле регулирования взаимоотношений между протокольными выражениями. То есть, протокольные выражения продолжают отражать реальные факты, но появляются и общие теории, связанные с протокольными выражениями с помощью дедукции.

Что значит выявить догмы? Это значит их зафиксировать. Зная их, мы делаем первый значительный шаг от освобождения от них.

Куайн полагает, что последовательное проведение редукционизма требует признание дихотомии аналитических/синтетических суждений и наоборот.

Действительно, одна догма поддерживает другую следующим образом: «если считается значимым говорить о подтверждении или неподтверждении отдельного высказывания чувственным опытом, то вполне осмысленно говорить также о предельном случае высказывания, которое подтверждается тем самым чем угодно, и такое высказывание является аналитическим». То есть, у нас есть предложение А, мы хотим сопоставить его с опытом, но в действительности мы не можем сопоставлять это единственное предложение с опытом, нам необходима конъюнкция А, Б и С и только она адекватно может быть сопоставлена с опытом. Но встает вопрос, что подтверждается опытом А,Б или С? Для ответа на этот вопрос необходимо предположить, что Б и С – аналитические высказывания и истинны уже в силу самого языка, на котором сформулированы.

Любимый пример Печенкина – это список студентов, которые должны посещать лекции и которых на каждой лекции отмечают. Внесение в список предполагает конъюнкцию следующих фактов, что некто существует,

является студентом и посещает лекцию. Соответственно при проверке конъюнкции опытом мы выясняем истинность этой конъюнкции. Но истинность того, что некто, внесенный в список, является студентом и существует – это аналитические суждения, истинные в силу самого языка, на котором проблема была сформулирована. Поэтому единственным синтетическим суждением остается факт посещение студентами лекций.

С другой стороны редукционизм помогает поддерживать дихотомию аналитических/синтетических суждений.

Возьмем два аналитических суждения: Все холостяки – неженаты и Все красноголовые дятлы имеют красные головы.

В обосновании этих суждений скрыто используется редукционизм, поскольку мы в том или ином виде вынуждены обращаться к опыту для проверки этих суждений на аналитичность. То есть в обоих случаях мы эмпирически устанавливаем ряд признаков, соответствие которым и формирует наш выбор в пользу отнесения суждения к классу аналитических или синтетических.

Куайн выдвигает свою позитивную программу эмпиризма без догм. Прежде всего, научное знание он воспринимает как нечто цельное и внутри себя взаимосвязанное. Тем не менее, внутри науки Куайн выделяет ядро – предложения, которые мы обычно не опровергаем, и периферию – состоящую из предложений, которые при столкновении с опытом могут быть опровергнуты, вследствие чего перестраивается все поле науки, в силу внутренней взаимосвязи элементов.

Для Куайна даже математика не является священной коровой. Он полагает, что математика не потому не опровергается, что состоит из необходимых истин, а

потому, что мы считаем, что она из них состоит, т.к. откладываем опровержение математики.

Однако уже есть случаи, когда произошел отказ от определенных элементов современной математики, основанной на формальной логике. Так Райхенбах отказался от принципа исключенного третьего в своей работе «Квантовая механика».

Эмпиризм – это позиция доверия своим ощущениям, но соблюдать ее можно только отказавшись от двух догм.

Впоследствии ученик Куайна Дэвидсон обнаружил в эмпиризме еще одну догму- догму концептуального каркаса.

«Онтологическая относительность.»

Эта статья начинается с ссылки на Дьюи (как Дьюи был первым лектором курса лекций в память Джемса, так и Куайн первый лектор курса лекций в память Дьюи).

Статья построена на рассмотрении следующих тезисов:

1. Тезис о недоопределенности теории опытом, т.е. теория не до конца детерминирована опытом.
2. Тезис о неопределенности перевода.
3. Тезис онтологической относительности.
4. Тезис непроницаемости/непознаваемости референта, то есть того предмета, к которому относится термин.

Тезис № 1. Теория не вся вытекает из опыта, в ней много степеней свободы, которые позволяют менять наше знание. Опыт – это безграничный океан чувств, а теория лишь погруженная в него конструкция, своего рода корабль, который плывет в этом океане и может в зависимости от условий менять свой курс, даже перестраиваться, поскольку теория не жестко детерминирована тем океаном, в котором она осуществляет свое плавание.

Тезис №2. Существуют два языка L1 и L2, но помимо них существуют при переводе с одного языка на другой множество способов перевода, которые совместимы как с этими языками, так и с нашей способностью их использовать. Не следует путать эту установку с тривиальными трудностями перевода с одного языка на другой. Куайн говорит о принципиальной трудности, которую никогда невозможно преодолеть. Эта трудность выходит на первый план при попытке перевода с некоего туземного языка на английский. Эта проблема получила название – проблема гавагаи. Речь идет о том, что туземец при общении с европейцем, неожиданно указывает на кролика и произносит «гавагаи». Но остается неизвестным на что именно он указывает, каково значение жеста, да и само слово неизвестно европейцу.

Непонятно куда показывает туземец на самого кролика, на его часть, на то, что кролик появился в поле зрения туземца или на что-то иное. Само слово «гавагаи» так непохоже на английское «rabbit».

Безусловно, продолжает Куайн, полевой этнограф применил бы англоязычную парадигму и перевел бы «гавагаи» как «кролик», кроме того он подрегулировал бы множественное/единственное число. Он подрегулировал бы язык туземца к тому, что ему, исследователю, очевидно. Но эти действия мало отвечают тому, что в реальности имеет место.

Да и сам жест представляет собой проблему. Под жестом Куайн имел в виду «остенсивное определение». Как эмпирик Куайн исходил из представлений о языке как совокупности шумов, букв и знаков, это никакой не «дом бытия» Хайдеггера, но исключительно эмпирический феномен. Отсюда и решение Куайном проблемы значения.

Эта проблема имеет большую историю в философии науки. Но первым кто различил значение (Bedeutung) – предмет, к которому относится термин – и смысл (Sinn) – информация, сопутствующая употребленному термину был Фреге. Он продемонстрировал на примере утренней/ночной звезды употребление термина с одним значением, но разным смыслом. В современном английском языке meaning – Sinn, reference – Bedeutung.

Для Куайна же, значение отнюдь не субстанция информации, но некий способ поведения, поэтому и указание пальцем – это значение термина, вследствие чего встает вопрос как это значение расшифровать?

Язык, для Куайна, лишен основания, поскольку, начиная с критики дихотомии аналитических/синтетических суждений, он лишил язык основания в виде аналитических суждений.

Таким образом, значение термина остается нераскрытым, поскольку логически оно из ситуации не выводится.

Получается, что у нас есть уравнение с двумя неизвестными: $a+b=x+y$, где a – запись слова «гавагаи», b – сфотографированный жест, x – соответствие гавагаи в английском языке, y – соответствие сфотографированному жесту в английской культуре.

Исследователь, конечно путем конструирования грамматики туземного языка придаст некое значение и слову и жесту, но все равно ситуация не выйдет из тупика, поскольку исследователь все равно будет экстраполировать грамматику своего языка на туземный язык.

Куайн идет еще дальше и постулирует неопределенность перевода внутри самого общества носителей одного языка, поскольку, общаясь с родными и знакомыми, мы, пользуясь общими терминами, вкладываем в них

различное значение, а перевод строим посредством амофонического перевода. То, что позволяет нам понимать друг друга – это принцип благожелательности, который работает при общении.

Помимо вышеизложенного Куайн критикует так называемый миф о музее, в котором утверждается существование ментальных значений (ментальных состояний). В музее, как известно, есть экспонаты, а есть вывески к экспонатам. Экспонаты – это значения, а вывески – термины. Т.е. гавагаи и rabbit не более чем вывески, обозначающие одно значение некое ментальное состояние сознания людей различных культур зафиксированное в виде представления о кролике, поэтому перевод – это все лишь смена вывески.

Но поскольку язык ничем не структурирован, т.е. мы условно принимаем правила оперирования в нем, а значения опредмечиваются в непосредственном поведении человека, то подобное отношение к значениям и терминам корне неверно.

Тезис №3. Онтологическая относительность. Сразу же следует учесть, что Куайн употребляет термин онтология не в качестве обозначения философского учения о бытии, но для обозначения совокупности предметов, полагающихся существующими.

Онтология, согласно Куайну, относительна, поскольку относительны сами языки. Именно они определяют отсутствие единой общенаучной картины мира, общей всем наукам и теориям. Куайн утверждает даже отсутствие общей картины мира в рамках одной науки, говоря, что лишь в рамках отдельной теории такая картина возможна. Как возможна и своя онтология лишь в рамках отдельного сообщества, говорящего на одном языке.

Куайн приводит примеры с современной медициной, которая под эпилепсией понимает совокупность соматических реакций, и архаической, где данная болезнь понималась как вселение дьявола в человека. Равно и современные ученые верят в атомы и электроны, но не верят богов, хотя древние греки наоборот верили в богов, но никак не в атомы.

Тезис №4. Тезис непроницаемости/непознаваемости референта, то есть того предмета, к которому относится термин. В связи с онтологической относительностью возникает и непрозрачность референции. Мы не можем с уверенностью сказать, на какой объект ссылается определенный термин.

Последствия работ Куайна.

1) Он способствовал развитию социального конструктивизма.

2) Он способствовал развитию феминистского эмпиризма (Элизабет Андерсон). Представители этого направления различают в научном сообществе две группы, характеризующиеся разными понятиями: мужчин руководителей исследовательских групп – *cognitive authority*, и женщин рабочих – *cognitive labor*. Женщины рабочие выполняют основную массу рутинной работы. В связи с этим представители данного направления выдвинули идею ограничения *cognitive authority*, поскольку всевластие его ведет к разрушению науки. Помимо этого, традиционная философия науки вся мужецентрична, она построена на принципе иерархии и превознесения теоретического (мужского) познания, в ущерб эмпирическому, чувственному (женскому) познанию. Безусловно, Куайн оказал влияние на это направление, поскольку с одной стороны превозносил эмпиризм, а с другой способствовал отказу от поиска критерия научности и переключению внимания

философов науки на рассуждения о социальной структуре научного сообщества и о должном его бытии.

ДВЕ ДОГМЫ ЭМПИРИЗМА

Уиллард Ван Орман Куайн

Сокращенный перевод с английского А.А.Печенкина

В книге: Куайн Уиллард Ван Орман. Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Перевод выполнен Т. А. Дмитриевым по изданию: Quine W. V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, pp. 20—46.

Современный эмпиризм был в значительной степени обусловлен двумя догмами. Одна из них — это убеждение в наличии некоего фундаментального различия между истинами, которые являются аналитическими, или опирающимися исключительно на значения вне зависимости от положений дел, и истинами, которые являются синтетическими, или опирающимися на факты. Другая догма — это редукционизм; она представляет собой убеждение, что всякое осмысленное (meaningful) высказывание является эквивалентом какой-то логической конструкции, состоящей из терминов, отсылающих к непосредственному опыту. Обе догмы, как я буду утверждать, недостаточно обоснованы. Одно следствие отказа от них, как мы увидим, состоит в стирании предполагаемой границы между спекулятивной метафизикой и естественной наукой. Другое следствие — сдвиг к прагматизму.

1 Основание для аналитичности

Кантовское различие между аналитическими и синтетическими истинами было предвосхищено различием, проведенным Юмом между отношениями идей и положениями дел, и различием, проведенным Лейбницем между истинами разума и истинами факта. Лейбниц утверждал, что истины разума являются

истинными во всех возможных мирах. Это означает, что истины разума таковы, что они не могут быть ложными. В том же духе аналитические высказывания определяются как высказывания, отрицание которых является самопротиворечивым. Однако это определение обладает не слишком большой объяснительной силой: поскольку понятие «самопротиворечивость», требующееся для подобного определения аналитичности, нуждается в прояснении не в меньшей степени, чем само понятие аналитичности. Эти два понятия — просто две стороны одной подозрительной монеты.

Кант считал аналитическим суждением такое суждение, которое приписывает своему субъекту то, что уже концептуально содержится в субъекте. Эта формулировка страдает двумя недостатками: она ограничивается суждениями субъектно-предикатной формы, и она прибегает к помощи понятия «включенности», которое остается метафорой. Однако замысел Канта, становящийся ясным скорее из того употребления, какое он отводит понятию аналитичности, чем из его определения этого понятия, можно переформулировать следующим образом: суждение является аналитическим в том случае, когда оно истинно в силу значения и независимо от фактов. Придерживаясь этой схемы, давайте рассмотрим понятие значения (meaning), которое предполагается в этом определении.

Следует помнить о том, что значение не следует отождествлять с именованием ¹⁾. Примеры «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда», приводимые Фреге, и примеры «Вальтер Скотт» и «автор Уэверли», приводимые Расселом, показывают, что термины могут именовать одну и ту же вещь, но при этом иметь разные значения. Различие между значением и именованием является не менее важным и на уровне абстрактных

терминов. Термины «9» и «число планет» именуют одну и ту же абстрактную сущность, но их следует считать различными по своему значению; поскольку потребовались астрономические наблюдения, а не только размышления над значениями, чтобы определить тождественность той сущности, о которой идет речь.

Вышеприведенные примеры состоят из единичных терминов, абстрактных и конкретных. В том, что касается общих терминов, или предикатов, ситуация отчасти отличается, хотя при этом и наблюдается известный параллелизм. В то время как единичный термин нацелен на то, чтобы именовать сущность, абстрактную или конкретную, общий термин подобной нацеленности не имеет; однако общий термин является истинным относительно сущности, или относительно каждой сущности из некоего множества, либо в отношении ни одной сущности ²⁾. Класс всех сущностей, в отношении которых является истинным общий термин, называется объемом термина. Теперь параллельно различию между значением сингулярного термина и именуемой сущностью мы должны провести соответствующее различие между значением общего термина и его объемом. Общие термины «живое существо, обладающее сердцем» и «живое существо, обладающее почками» совпадают по своему объему, но отличаются друг от друга по значению.

Смешение значения с объемом в случае общих терминов — вещь гораздо менее распространенная, чем смешение значения с именованием в случае единичных терминов. В философии уже стало общим местом противопоставление интенционала (или значения) экстенционалу, или, если выразаться другим языком, коннотации — денотации.

Аристотелевское понятие сущности было, вне всякого сомнения, предшественником современного понятия

интенционала, или значения. Для Аристотеля сущностью человека было то, что он является рациональным существом, и напротив, было не существенно то, что он является двуногим существом. Однако существует одно важное различие между этим подходом и теорией значения. С точки зрения последней можно, конечно же, заключить, что рациональность включается в значение слова «человек», тогда как обладание двумя ногами исключается из него; одно-двуноговость можно в то же самое время считать включающейся в значение слова «двуногое», тогда как рациональность не включается в него. Таким образом, с точки зрения теории значения не имеет смысла говорить о каком-то реально существующем индивиде, являющемся одновременно человеком и двуногим живым существом, что его рациональность является существенной, а двуногость — акцидентальной, и наоборот. Для Аристотеля вещи имеют сущность, но только лингвистические формы имеют значение. Значение — это то, чем становится сущность, когда ее разводят с предметом референции и отдают замуж за слово.

Для теории значения важной проблемой является природа ее объектов: какого рода вещами являются значения? Острая необходимость в подразумеваемых сущностях может возникнуть из предшествующей неудачи понять, что значение и референция отличаются друг от друга. Коль скоро теория значения отделяется от теории референции, мы оказываемся уже на полпути к признанию того, что делом теории значения является синонимия лингвистических форм и аналитичность высказываний; сами же значения, как смутные опосредующие сущности, смело могут быть устранены ³⁾.

Мы снова оказываемся лицом к лицу с проблемой аналитичности. Высказывания, которые, по общему

мнению философов, являются аналитическими, не так-то сложно обнаружить. Они разделяются на два класса. Высказывания первого класса, которые могут быть названы логически истинными, экзemplифицируются высказыванием:

(1) Ни один неженатый человек не женат.

Соответствующее свойство этого примера заключается в том, что данное высказывание не просто является истинным, но остается истинным при каких угодно интерпретациях слов «человек» и «женатый». Если мы предположим исходную опись логических частиц, охватывающую выражения «не», «если», «тогда» и т. д., то логической истиной будет высказывание, которое является истинным и остается истинным при всех интерпретациях его нелогических компонентов.

Есть, однако, и второй класс аналитических высказываний, представленный высказываниями типа:

(2) Ни один холостяк не женат.

Характерная черта таких высказываний заключается в том, что они могут быть превращены в логические истины путем замены синонимичного выражения синонимичным выражением; так, высказывание (2) может быть превращено в высказывание (1) путем замены выражения «холостяк» его синонимом «неженатый человек». Мы пока еще не располагаем надлежащей характеристикой этого второго класса аналитических высказываний и поэтому не располагаем и надлежащей характеристикой аналитичности как таковой, поскольку в вышеуказанном описании мы опирались на понятие «синонимии», которое заслуживает прояснения не в меньшей степени, чем понятие самой «аналитичности».

В последнее время Карнап стал склоняться к объяснению аналитичности при помощи того, что он называет

описаниями состояния (state-descriptions) ⁴⁾. Описание состояния есть исчерпывающее приписывание истинностных значений атомарным, или несоставным, высказываниям языка. Все прочие высказывания языка строятся, как полагает Карнап, из этих элементарных компонентов при помощи известных логических средств таким образом, что истинностное значение любого сложного высказывания фиксируется для каждого описания состояния при помощи специфических логических законов. Высказывание объясняется как аналитическое, если оно оказывается истинным при любом описании состояния. Этот подход является адаптацией определения Лейбница «является истинным во всех возможных мирах». Заметьте, однако, что эта версия аналитичности выполняет свою роль только в том случае, если атомарные высказывания языка являются, в отличие от высказываний «Джон — холостяк» и «Джон женат», взаимно независимыми. В противном случае существовали бы описания состояния, которые приписывали бы истину высказыванию «Джон — холостяк» и «Джон женат», и, следовательно, высказывание «Ни один холостяк не женат» оказалось бы, согласно предложенному критерию, скорее синтетическим, нежели аналитическим. Таким образом, критерий аналитичности, сформулированный в терминах описаний состояния, работает исключительно для языков, свободных от экстралингвистических синонимичных пар, таких, как «холостяк» и «неженатый человек», — иными словами, от синонимичных пар того типа, которые, собственно говоря, и дают начало «второму классу» аналитических высказываний. Критерий, сформулированный в терминах описания состояния, является в лучшем случае реконструкцией логической истины, но не аналитичности.

При этом я далек от того, чтобы считать, что Карнап заблуждается на этот счет. Его упрощенная модель языка, основанная на понятии «описания состояния», нацелена в первую очередь не на разрешение общей проблемы аналитичности, но на другую цель — на прояснение проблемы вероятности и индукции. Нашей же проблемой является именно аналитичность; и здесь наибольшую трудность представляет не первый класс аналитических высказываний, логические истины, но скорее второй класс, зависящий от понятия синонимии.

2 Определение

Находятся люди, которые делают успокоительные заявления, что аналитические высказывания второго класса сводятся к аналитическим высказываниям первого класса, логическим истинам, посредством определения; к примеру, «холостяк» определяется как «неженатый человек». Однако откуда мы знаем, что «холостяк» определяется как «неженатый человек»? Кто определил это слово так и когда? Следует ли нам обратиться к ближайшему словарю и принять формулировку лексиколога в качестве закона? Ясно, что действовать подобным образом означало бы ставить телегу впереди лошади. Лексиколог является эмпирическим ученым, занимающимся фиксацией имеющихся фактов; и если он истолковывает «холостяка» как «неженатого человека», то это происходит в силу его веры в то, что существует отношение синонимии между этими формами, имплицитированное в общем или предпочтительном употреблении, априорном по отношению к его собственной деятельности. Предполагаемое в данном случае понятие синонимии все еще нуждается в прояснении, — по-видимому, в терминах, относящихся к лингвистическому поведению. Ясно, что «определение»,

которое является отчетом лексиколога о наблюдаемом поведении, не может считаться основанием синонимии.

Определение не является, конечно же, деятельностью, практикуемой исключительно филологами. Философы и ученые довольно часто имеют дело с «определением» неясных терминов путем перефразировки их в терминах более знакомого словаря. Однако обычно такие определения, как и определения филологов, являются чистой лексикологией, утверждающей отношение синонимии, предшествующее той ситуации, о которой идет речь.

Что значит утверждать синонимию, какие взаимосвязи могут быть необходимыми и достаточными для того, чтобы две лингвистические формы можно было описать как синонимичные — все это еще совсем неясно; однако, каковы бы ни были эти взаимосвязи, обычно они опираются на употребление. Определения, дающие отчеты об отдельных случаях синонимии, становятся поэтому отчетами об употреблении.

Имеется, однако же, отличный тип деятельности определения, который не ограничивается отчетом о предшествующей синонимии. Я имею в виду то, что Карнап называет экспликацией, — деятельность, которой отдаются философы, да, впрочем, и ученые, в наиболее философские моменты их творчества. Целью экспликации является не простая перефразировка определяемого в правильный синоним, но исправление определяемого путем очищения или дополнения его значения. Но даже экспликация, хотя она и не является простым отчетом о предшествующей синонимии между определяемым и определяющим выражениями, тем не менее опирается на другие предшествующие синонимии. Эту проблему можно сформулировать следующим образом. Всякое слово, требующее экспликации, обладает некоторыми

контекстами, которые, как целые, являются достаточно ясными и точными для того, чтобы их использовать; и цель экспликации заключается в том, чтобы сохранить употребление этих привилегированных контекстов, обратив в то же самое время внимание на употребление других контекстов. Для того, чтобы данное определение служило целям экспликации, не требуется, чтобы определяемое выражение в своем предшествующем употреблении было синонимичным с определяющим; необходимо только, чтобы каждый из этих привилегированных контекстов определяемого выражения, взятых как целое в его предшествующем употреблении, был синонимичен соответствующему контексту определяющего.

Два альтернативных определяющие выражения могут быть равным образом подходящими для целей данной задачи экспликации и в то же время не синонимичными друг другу; дело в том, что они могут использоваться взаимозаменяемым образом внутри привилегированных контекстов, но в то же самое время различаться в остальных. Выбирая скорее одно определяющее выражение, нежели другое, определение экспликативного вида производит такое отношение синонимии между определяемым и определяющим выражениями, которое не существовало ранее. Однако такое определение все еще обязано своей экспликативной функцией предшествующим синонимиям.

Остается, однако же, еще крайний случай определения, который вообще не обращается к предшествующим синонимиям, а именно эксплицитно конвенциональное введение новых способов записи для целей явного сокращения. В этом случае определяемое становится синонимичным с определяющим просто в силу того, что оно специально создается с той целью, чтобы быть

синонимичным с определяемым. Тут мы имеем реально прозрачный случай синонимии, созданной определением; если бы этот случай синонимии был бы единственным, то все виды синонимии были бы столь же постижимыми. В остальном определение скорее опирается на синонимию, чем объясняет ее.

Слово «определение» приобрело опасно успокоительное звучание благодаря тому, что оно часто встречается в логических и математических произведениях. Поэтому мы поступим правильно, если уделим определенное внимание той роли, которую определение играет в формальных исследованиях.

В логических и математических системах может быть использован любой из двух взаимно противоположных типов экономии, причем каждый имеет свою своеобразную полезность. С одной стороны, мы можем стремиться к экономии практического выражения — к легкости и краткости при установлении разнообразных отношений. Этот вид экономии требует отчетливых кратких способов записи ради благополучия многообразия понятий. Во-вторых, и в противоположность первому подходу, мы можем искать экономии для грамматики и словаря; мы можем пытаться найти минимум основных понятий, таких, что, коль скоро для каждого из них был найден отчетливый способ записи, становится возможным выразить любое иное понятие путем простой комбинации и повторения наших основополагающих способов записи. Этот второй вид экономии является непрактичным в том отношении, что недостаток основополагающих идиом оборачивается чрезмерным удлинением дискурса. Однако она оказывается практичной в ином отношении: второй тип экономии в значительной мере упрощает теоретический дискурс о языке благодаря тому, что уменьшает

количество терминов и форм конструкции, из которых состоит язык.

Оба вида экономии, хотя и являются *prima facie* несовместимыми друг с другом, являются ценными по отдельности. Вследствие этого появилась привычка комбинировать два вида экономии путем сохранения двух языков, один из которых становится частью другого. Язык, включающий в себя другой язык, хотя он и оказывается избыточным в отношении своей грамматики и словаря, является экономным в сообщении, в то время как язык, включенный в этот первый, называется примитивным способом записи и является экономным по своей грамматике и словарю. Целое и части соотносятся друг с другом при помощи правил перевода, благодаря которым каждая идиома, не встречающаяся в примитивном способе записи, приравнивается к некоторой сложной идиоме, построенной из примитивного способа записи. Эти правила перевода являются так называемыми определениями, встречающимися в формальных языках. Их лучше считать не принадлежащими к какому-то одному языку, но взаимосвязями между двумя языками, один из которых является частью второго.

Однако подобного рода взаимосвязи отнюдь не произвольны. Они призваны показать, как примитивные способы записи способны достичь всех целей, стоящих перед избыточным языком, за исключением краткости и удобства. Следовательно, есть все основания ожидать, что во всех ситуациях определяемое и определяющее выражения будут связаны друг с другом каким-то одним из тех трех способов, которые я формулирую ниже. Во-первых, определяющее выражение может представлять собой точную перефразировку определяемого выражения в более краткий способ записи, сохраняющий

непосредственную синонимию ⁵⁾ предшествующего употребления. Во-вторых, определяющее выражение может, в духе экспликации, улучшить предшествующее употребление определяемого выражение. Наконец, в-третьих, определяемое выражение может представлять собой впервые созданный способ записи, впервые наделенный значением здесь и теперь.

Таким образом, как в формальных, так и в неформальных исследованиях мы обнаруживаем, что определение — за исключением крайнего случая эксплицитно конвенционального введения новых способов записи — зависит от предшествующих отношений синонимии. Признавая, что понятие определения не дает нам ключа к синонимии и аналитичности, давайте оставим в покое определение и займемся синонимией.

3 Взаимозаменяемость

Естественное предположение, требующее тщательного исследования, состоит в том, что синонимия двух лингвистических форм заключается исключительно в их взаимозаменяемости во всех контекстах без изменения истинностного значения, т. е. во взаимозаменяемости, именуемой Лейбницем *salva veritate* ⁶⁾. Заметьте, что таким вот образом понятые синонимы не обязательно должны быть свободны от смутности, поскольку их смутности сочетаются между собой.

Однако не совсем верно, что синонимы «холостяк» и «неженатый человек» повсеместно взаимозаменяемы *salva veritate*. Истины, становящиеся ложными при замене выражения «неженатый человек» выражением «холостяк», не так-то сложно сконструировать при помощи таких выражений, как «бакалавр искусств» (*bachelor of arts*) или «лютики» (*bachelors buttons*) или с помощью цитаты, например:

«Холостяк» состоит из менее чем десяти букв.

Такие контрпримеры могут, однако, быть исключены посредством рассмотрения фраз «бакалавр искусств» и «лютики» и цитаты «холостяк» каждой как единого неделимого слова и выдвижения оговорки, согласно которой взаимозаменяемость *salva veritate*, которая должна быть краеугольным камнем синонимии, неприменима к отдельным элементам внутри слова. Это объяснение синонимии, коль скоро оно приемлемо на прочих основаниях, сталкивается с известным препятствием, поскольку оно обращается к априорному понятию «слово», которое может при своей формулировке встретиться с дальнейшими трудностями. Тем не менее можно предположить, что сведением проблемы синонимии к проблеме критерия бытия словом (*wordhood*) достигается известный прогресс. Давайте будем двигаться в этом направлении, приняв «слово» за нечто само собой разумеющееся.

Остается вопрос, является ли взаимозаменяемость *salva veritate* (безотносительно к отдельным элементам внутри слова) достаточно строгим условием для синонимии или же, напротив, некоторые гетерономные выражения могли бы поддаваться подобного рода взаимной замене. Следует отдавать себе отчет в том, что мы не занимаемся в данном случае синонимией в смысле полной идентичности в отношении психологических ассоциаций или поэтического качества; ясно, что ни одно выражение не является синонимичным в этом смысле. Мы занимаемся только тем, что можно назвать познавательной синонимией. О том, что она собой представляет, нельзя ничего сказать, не завершив успешно данное исследование; однако мы все же кое-что знаем о ней из той потребности, что возникает в ней в связи с аналитичностью в § 1. Тот вид синонимии, что требуется

в этом случае, состоит в том, что всякое аналитическое высказывание может быть превращено в логическую истину посредством замены синонима синонимом. Меняясь ролями и допуская аналитичность, мы можем объяснить познавательную синонимию терминов следующим образом (следуя при этом известному примеру): сказать, что термины «холостяк» и «неженатый человек» являются познавательно синонимичными, означает сказать всего-навсего то, что высказывание:

(3) Все холостяки и только холостяки суть неженатые люди —

является аналитическим ⁷⁾.

Нам требуется такое объяснение познавательной синонимии, которое не предполагало бы аналитичность — если, напротив, нам надо объяснить аналитичность при помощи познавательной синонимии, как предполагается в § 1. И конечно же, такое независимое объяснение познавательной синонимии и предполагается в данный момент подвергнуть рассмотрению, а именно повсеместную взаимозаменяемость *salva veritate* за исключением отдельных элементов слов. Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, действительно ли такая взаимозаменяемость является достаточным условием познавательной синонимии. Мы можем быстро уверить себя в этом при помощи примеров следующего вида. Высказывание:

(4) Необходимо, что все холостяки и только холостяки являются холостяками,

очевидно истинно, даже если предположить, что «необходимо» сконструировано так узко, что истинно применимо только к аналитическим высказываниям. Тогда, если «холостяк» и «неженатый человек» являются взаимозаменяемыми *salva veritate*, высказывание:

(5) Необходимо, что все холостяки и только холостяки являются неженатыми людьми,

полученное путем замены выражением «неженатый человек» выражения «холостяк» в высказывании (4), должно, как и высказывание (4), быть истинным. Однако сказать, что (5) является истинным, означает сказать, что (3) является аналитическим и, следовательно, что «холостяк» и «неженатый человек» являются познавательно синонимичными.

Давайте рассмотрим те особенности вышеуказанного аргумента, которые придают ему дух магической формулы. Условия взаимозаменяемости *salva veritate* варьируются по своей силе вместе с вариациями богатства того языка, с которым нам приходится иметь дело. Вышеуказанный аргумент предполагает, что мы работаем с языком, достаточно богатым для того, чтобы содержать наречие «необходимо», причем это наречие сконструировано так, чтобы удовлетворять истине тогда и только тогда, когда оно применяется к аналитическому высказыванию. Но можем ли мы мириться с языком, который содержит такое наречие? Действительно ли это наречие имеет смысл? Предполагать, что оно имеет смысл, означает предполагать, что мы уже придали выражению «аналитический» какой-то определенный смысл. Но почему в таком случае мы с таким огромным трудом осуществляем наше исследование?

Наш аргумент не является явно циркулярным, но он явно близок к этому. Выражаясь фигурально, он имеет форму замкнутой кривой линии в пространстве.

Взаимозаменяемость *salva veritate* лишена смысла, пока она не поставлена в зависимость от языка, чья применимость определена в соответствующих отношениях. Предположим, что мы рассматриваем язык, который содержит следующие компоненты. В нем

содержится бесконечно большой ряд одноместных предикатов (например, «F», где «Fx» означает, что x является человеком) и многоместных предикатов (например, «G», где «Gxy» означает, что x любит y), которые в основном имеют дело с экстралингвистическими обстоятельствами. Остальная часть языка является логической. Каждое атомарное предложение состоит из предиката, сопровождаемого одной или более переменными «x», «y», и так далее; а сложные предложения строятся из атомарных при помощи функции истинности («не», «и», «или» и так далее) и квантификации⁸. В результате такой язык получает пользу как от описаний, так и, конечно же, и от единичных терминов как таковых, которые определяются контекстуально известными способами⁹. Даже абстрактные единичные термины, именующие классы, классы классов и т. д., контекстуально определимы в случае наличия набора предикатов, включая двухместные предикаты принадлежности классу¹⁰. Такой язык может адекватно служить классической математике и, конечно же, научному дискурсу в целом, за исключением случаев, когда последний включает в себя контрфактические условные высказывания или модальные наречия типа «необходимо»¹¹. Таким образом, язык этого типа является экстенциональным; а два предиката, которые совпадают по объему (т. е. являются истинными в отношении одних и тех же объектов), являются взаимозаменяемыми *salva veritate*¹².

Поэтому в экстенциональном языке взаимозаменяемость *salva veritate* не гарантирует когнитивной синонимии требуемого типа. То, что выражения «холостяк» и «неженатый человек» являются взаимозаменяемыми *salva veritate* в экстенциональном языке, убеждает нас только в том, что (3) является истинным. Однако нет никаких

гарантий того, что совпадение по объему выражений «холостяк» и «неженатый человек» опирается скорее на значение, нежели на какие-то случайные эмпирические обстоятельства, как это происходит в случае совпадения по объему выражений «существо, обладающее почками» и «существо, обладающее сердцем».

С точки зрения большинства целей совпадение выражений по объему в наибольшей степени приближается к синонимии, которая нам нужна. Однако остается тот факт, что совпадение по объему оказывается лишенным когнитивной синонимии того типа, что требуется для объяснения аналитичности в виде § 1. Тот вид когнитивной синонимии, который нам требуется, должен быть таким, чтобы он приравнивал синонимичность выражений «холостяк» и «неженатый человек» к аналитичности предложения (3), а не просто к его, то есть предложения (3), истинности.

Итак, нам следует признать, что взаимозаменяемость *salva veritate*, если конструировать ее относительно экстенционального языка, не является достаточным условием когнитивной синонимии в смысле, требуемом для выведения аналитичности тем способом, что был предложен в § 1. Если же язык содержит интенциональное наречие «необходимо» в том смысле, что был отмечен впоследствии, или же иные частицы подобного рода, то взаимозаменяемость *salva veritate* в таком языке и в самом деле обеспечивает достаточное условие когнитивной синонимии; но такой язык является мыслим лишь постольку, поскольку всегда уже заранее предполагается понятие аналитичности.

Попытка объяснить сперва когнитивную синонимию ради того, чтобы вывести аналитичность в том виде, как она была предложена в § 1, является, возможно, ошибочным подходом. Напротив, мы можем попробовать объяснить

понятие «аналитичность», не прибегая к понятию когнитивной синонимии. Несомненно, что после этого мы могли бы при желании вывести познавательную синонимию из аналитичности. Мы видели, что когнитивная синонимия выражений «холостяк» и «неженатый человек» может быть объяснена как аналитичность (3). То же самое объяснение работает для любой пары одноместных предикатов, конечно, и оно может быть распространено на многоместные предикаты. Другие синтаксические категории также могут быть введены сходным образом. Можно сказать, что единичные термины являются когнитивно синонимичными, когда высказывание тождества, образованное посредством проставления «=» между ними, является аналитическим. Высказывания могут быть признаны познавательной синонимичными, когда двойное условное высказывание (biconditional), образованное из них при помощи выражения «тогда и только тогда», является аналитическим ¹³⁾. Если мы стремимся подвести все категории под одну формулировку, то используя понятие «слово», к которому мы уже обращались ранее в этом разделе, мы можем описать две лингвистические формы как когнитивно синонимичные, когда эти две формы являются взаимозаменяемыми (за исключением происходящего внутри «слов») *salva* (но не *veritate*, а *analyticitate*). Несомненно, что в этом случае возникают технические проблемы определенного рода, связанные, в частности, со случаями двусмысленности или омонимии; но давайте не будем на них задерживаться, поскольку мы и так уже отклонились от темы. Давайте лучше оставим в покое проблему синонимии и обратимся снова к проблеме аналитичности.

4 Семантические правила

Аналитичность на первый взгляд представлялась проще всего определимой путем обращения к царству значений. Выражаясь более изысканно, обращение к значениям открывает путь к обращению к синонимии или определению. Однако определение оказалось блуждающим огоньком; к тому же выяснилось, что лучшего понимания синонимии можно достичь только путем предваряющего обращения к самой аналитичности. Так что мы опять возвращаемся к проблеме аналитичности.

Я не знаю, является ли высказывание «Все зеленое — протяженно» аналитическим. Так вот — в самом ли деле моя нерешительность по отношению к вышеприведенному примеру выдает мое непонимание, мое неполное постижение значения слов «зеленый» и «протяженный»? Я думаю, что нет. Проблема заключается не в «зеленом» и не в «протяжённом», она заключается в «аналитичном».

Часто указывают, что трудность отделения аналитических высказываний от синтетических в обыденном языке вызвана смутностью обыденного языка и что это различие является ясным, когда мы имеем точный искусственный язык с явно выраженными «семантическими правилами». Это, однако, как я надеюсь показать, является ошибкой.

То понятие аналитичности, о котором мы беспокоимся, есть некое отношение, которое, как предполагается, существует между высказываниями и языком; высказывание *S* считается аналитическим для языка *L*, и проблема заключается в том, чтобы прояснить это отношение в общем, т. е. для переменных «*S*» и «*L*». Сложность этой проблемы не в меньшей мере заметна в искусственных языках, чем в естественных. Проблема осмысления идиомы «*S* является аналитическим в языке *L*», с переменными «*S*» и «*L*», сохраняет свою

неподатливость, даже если мы ограничиваем область переменных «L» искусственными языками. Позвольте мне теперь пояснить это обстоятельство.

Когда речь заходит об искусственных языках и семантических правилах, мы обычно обращаемся к работам Карнапа. Его семантические правила принимают различные формы, и для того, чтобы сформулировать свою идею, я должен различить некоторые из них. Для начала предположим искусственный язык L_0 , семантические правила которого имеют форму явного определения, рекурсивного или иного, всех аналитических высказываний языка L_0 . Правила утверждают, что определенные высказывания, и только они, являются аналитическими в языке L_0 . Проблема в этом случае состоит просто-напросто в том, что правила упоминают слово «аналитический», которое мы не понимаем! Мы понимаем, каким выражениям правила приписывают аналитичность, но не понимаем, что за свойство правила приписывают этим выражениям. Короче говоря, прежде чем мы поймем правило, которое начинается фразой «Высказывание S является аналитическим относительно языка L_0 тогда и только тогда . . . », мы должны понимать общий относительный термин «аналитический относительно»; мы должны понимать выражение «S является аналитическим относительно L», где «S» и «L» представляют собой переменные.

Мы можем действовать и противоположным образом и считать так называемое семантическое правило конвенциональным определением нового простого символа «аналитично относительно L_0 », которое лучше было бы нетенденциозно записать как «K» с тем, чтобы оно не раскрывало смысл интересующего нас слова «аналитический». Само собою понятно, что любое

множество классов высказываний K , M , N и т.д. языка L_0 может быть специфицировано в различных целях либо же безотносительно к какой-то цели; но что означает утверждение, что K , в противоположность M , N и т.д., представляет собой класс «аналитических» высказываний языка L_0 ?

Утверждая, что высказывания являются аналитическими относительно языка L_0 , мы объясняем выражение «аналитический относительно языка L_0 », но не выражения «аналитический» или «аналитический относительно». Мы не приступаем к объяснению идиомы « S является аналитическим относительно L », содержащей переменные « S » и « L », даже если мы склонны ограничить диапазон « L » областью искусственных языков.

В действительности мы знаем достаточно относительно подразумеваемой значимости «аналитического» для того, чтобы отдавать себе отчет в том, что аналитические высказывания относятся к разряду истинных. Давайте поэтому обратимся ко второй форме семантического правила, которая утверждает не аналитический характер высказываний, а их истинность. Это правило защищено от критики постольку, поскольку оно не содержит непонятное слово «аналитический»; одновременно для простоты аргумента мы можем признать, что более широкий термин «истинный» не встречается с затруднениями. Семантическое правило этого второго типа, правило истинности, не нацелено на то, чтобы выделять все истины языка; оно просто обуславливает, рекурсивно или каким-либо иным образом, определенное множество высказываний, которые, наряду с другими неспецифицированными высказываниями, мы должны считать истинными. Такое правило может считаться достаточно прозрачным. Поэтому в производном смысле аналитичность может быть выделена следующим образом:

высказывание аналитично, если оно является не просто истинным, но истинным согласно семантическому правилу.

На самом деле тут нет никакого продвижения вперед. Вместо того, чтобы обращаться к необъясненному слову «аналитический», мы теперь обращаемся к необъясненной фразе «семантическое правило». Не всякое истинное высказывание, которое утверждает, что высказывания некоторого класса являются истинными, может считаться семантическим правилом — в противном случае все истины были бы «аналитическими» в том смысле, что они были бы истинными согласно семантическим правилам. Очевидно, что семантические правила различимы только благодаря факту своего появления на странице под заголовком «Семантические правила», и сам этот заголовок поэтому лишен всякого смысла.

Конечно же, мы можем сказать, что высказывание является аналитическим относительно L_0 тогда и только тогда, когда оно является истинным в соответствии с определенными специально введенными «семантическими правилами», но в результате мы оказываемся отброшенными к ситуации, которую обсуждали с самого начала: «Высказывание S является аналитическим относительно языка L_0 тогда и только тогда...». Если же мы пытаемся объяснить фразу «Высказывание S является аналитическим относительно языка L » как таковую для переменной « L » (даже при условии, что диапазон « L » ограничивается искусственными языками), то объяснение фразы «истинно согласно семантическому правилу L » оказывается недостижимым для нас, поскольку относительный термин «семантическое правило чего-либо» столь же нуждается в прояснении, как и термин «является аналитическим относительно».

Почтительно сопоставить понятие семантического правила с понятием постулата. В отношении данного множества постулатов нетрудно сказать, что собой представляет постулат: он является членом множества. В отношении данного множества семантических правил равным образом нетрудно сказать, что собой представляет семантическое правило. Но если рассматривать символику, математическую или иную, сколь угодно тщательно, с точки зрения перевода условий истинности его высказываний, то кто может сказать, какие из ее истинных высказываний следует считать постулатами? Само собою понятно, что вопрос этот не имеет смысла — точно так же, как лишен смысла вопрос о том, какие точки в Огайо являются начальными. Любое конечное (или эффективно выбранное бесконечное) множество высказываний (желательно истинных) является множеством постулатов в той же степени, что и любое другое. Слово «постулат» имеет значение только применительно к акту исследования; мы применяем это слово к множеству высказываний лишь постольку, поскольку нам случилось, на год или на данный момент, мыслить эти высказывания в их отношении к высказываниям, которые могут быть получены из первых при помощи ряда трансформаций, к которым приковано наше внимание. Итак, понятие семантического правила столь же осязаемо и наделено смыслом, сколь и понятие постулата, если только оно мыслится нами в том же самом относительном ключе — относительном в данном случае применительно к тому или иному отдельному предприятию, нацеленному на обучение необученных людей в подходящих условиях к истинности высказываний некоторого естественного или искусственного языка L . Однако с этой точки зрения ни одно выделение подкласса истин языка L не является по существу своему в большей степени семантическим

правилом, нежели иное; и если «аналитический» означает «истинный в силу семантических правил», ни одно истинное высказывание языка L не является аналитическим в большей степени, чем иное¹⁴⁾.

На это можно было бы возразить, что искусственный язык L, в отличие от естественного, представляет собой язык в обычном смысле этого слова плюс ряд семантических правил — и вместе они образуют, скажем так, упорядоченную пару; соответственно, можно было бы сказать, что семантические правила языка L поддаются выделению в качестве второго компонента пары, составляющей L. Но, выражаясь теми же самыми словами еще проще, мы можем истолковать искусственный язык L с самого начала как упорядоченную пару, чьим вторым компонентом является класс аналитических высказываний; и тогда аналитические высказывания языка L поддаются выделению просто как высказывания, входящие во второй компонент L. Или даже лучше, мы могли бы просто прекратить попытки пробиться без посторонней помощи.

Отнюдь не все объяснения аналитичности, известные Карнапу и его читателям, были приняты во внимание в вышеизложенных размышлениях, однако нетрудно распространить их и на другие формулировки этого понятия. Надо упомянуть только один дополнительный фактор, который периодически играет важную роль: иногда семантические правила являются в действительности правилами перевода на обыденный язык, и в этом случае аналитические высказывания искусственного языка считаются таковыми в силу аналитичности их переводов в обыденном языке. Понятно, что со стороны искусственного языка нельзя ожидать устранения проблемы аналитичности.

С точки зрения проблемы аналитичности понятие искусственного языка, снабженного семантическими правилами, является *feu follet par excellence*. Семантические правила, определяющие аналитические высказывания искусственного языка, представляют интерес лишь постольку, поскольку мы уже понимаем понятие аналитичности; они не в состоянии помочь нам добиться этого понимания.

Обращение к гипотетическим искусственным языкам, обладающим относительно простой структурой, могло бы, по всей видимости, быть полезным при прояснении аналитичности, если бы ментальные, или поведенческие, или культурные факторы, связанные с аналитичностью — какими бы они ни были — были бы в общих чертах описаны в этой упрощенной модели. Однако модель языка, в котором аналитичность рассматривается просто как определенное, ни к чему не сводимое свойство, не в состоянии поспособствовать нам в экспликации аналитичности.

Само собою понятно, что истина как таковая зависит как от языка, так и от экстралингвистических фактов. Высказывание «Брут убил Цезаря» было бы ложным, если бы мир был иным в определенных отношениях; но оно было бы ложным и в том случае, если бы слово «убил» обладало бы скорее значением «породил». Поэтому появляется склонность предположить, что истинность высказывания можно каким-то образом разделить на лингвистический компонент и фактический компонент. Коль скоро дано это предположение, разумно было бы предложить, что в некоторых высказываниях фактический компонент сведен к нулю; это и будут аналитические высказывания. Но, при всей ее априорной разумности, граница между аналитическими и синтетическими высказываниями просто не была проведена. То, что

подобного рода различие вообще должно быть проведено, есть неэмпирическая догма эмпириков, метафизический символ веры.

5 Верификационистская теория и редукционизм

В ходе этих безрадостных размышлений мы смутно рассмотрели сперва понятие значения, затем понятие когнитивной синонимии и, наконец, понятие аналитичности. Но как, могут спросить, обстоит дело с верификационистской теорией значения? Эта фраза столь прочно заняла место лозунга эмпиризма, что мы не были бы людьми научного склада, если бы не попробовали отыскать в ней ключ к проблеме значения, а также к родственным проблемам.

Верификационистская теория значения, которая получила распространение в философской литературе со времен Пирса, утверждает, что значение высказывания есть метод его эмпирического подтверждения или неподтверждения. Аналитическое высказывание представляет собой такой предельный случай, который подтверждается чем угодно.

Как я утверждал в § 1, мы можем отложить в сторону проблему значений как сущностей и сразу перейти к проблеме сходства (sameness) значения, или синонимии. В этом случае верификационистская теория утверждает, что высказывания являются синонимичными, если и только если они сходны с точки зрения метода их эмпирического подтверждения или неподтверждения.

Это объяснение относится не к когнитивной синонимии лингвистических форм как таковых, но к когнитивной синонимии высказываний ¹⁵⁾. Тем не менее мы могли бы при помощи рассуждений, сходных с рассуждениями, встречающимися в конце § 3, вывести из понятия синонимии высказываний понятие синонимии для других лингвистических форм. Допуская понятие «слово», мы

могли объяснить две любые формы как синонимичные, когда подстановка одной формы на место вхождения другой в любом высказывании (исключая вхождения внутри самих «слов») дает синонимичное высказывание. Наконец, если дано понятие синонимии для лингвистических форм как таковых, мы могли бы определить аналитичность в терминах синонимии и логической истины, как в § 1. В этом отношении мы могли бы определить аналитичность еще проще в терминах синонимии высказываний вместе с логической истиной; нет необходимости обращаться к синонимии каких-то иных лингвистических форм, кроме высказываний. Ибо высказывание может быть описано как аналитическое в том случае, если оно синонимично логически истинному высказыванию.

Итак, если верификационистская теория может быть принята в качестве адекватного объяснения синонимии высказываний, понятие аналитичности сохраняется. Однако давайте поразмыслим. Мы утверждали, что синонимия высказываний есть сходство метода эмпирического подтверждения или неподтверждения. Что это за методы, которые сравниваются в отношении их сходства? Какова, иными словами, природа отношения между высказыванием и опытами, которые говорят за или против его подтверждения?

Самым простым объяснением этого отношения является точка зрения непосредственного отчета. Это — радикальный редукционизм. Всякое осмысленное высказывание считается переводимым в высказывание (истинное или ложное), касающееся непосредственного опыта. Радикальный редукционизм в той или иной своей форме предшествует так называемой верификационистской теории значения. Так, Локк и Юм считают, что всякая идея должна или непосредственно

возникать из чувственного опыта, или же быть составленной из идей, таким вот образом возникших; следуя указаниям Тука, мы могли бы перефразировать эту доктрину на семантическом жаргоне, указав, что для того, чтобы быть значимым, термин должен либо быть именем чувственных данных, либо должен быть составлен из таких имен, либо должен быть аббревиатурой для такого составного имени. Будучи сформулирована подобным образом, эта доктрина остается двусмысленной в силу того, что чувственно данными считаются как чувственные события, так и чувственные качества; она остается двусмысленной и в отношении приемлемых способов составления [сложных имен из простых]. Более того, эта доктрина не является необходимой и терпимой в силу той ограниченной — термин за термином — процедуры редукции, которую она предполагает. Более разумно, и притом не выходя за границы радикального редукционизма, было бы предположить, что нам следует рассматривать высказывание в целом в качестве значимой единицы — что предусматривает, что наши высказывания как отдельные единицы переводимы на язык чувственных данных, хотя они и непереводимы термин за термином.

Это улучшение, несомненно, приветствовалось бы Локком, Юмом и Туком, но исторически оно должно было дожидаться важной смены ориентации в рамках семантики, в результате которой первичным носителем значения стали считать не термин, а высказывание. Эта переориентация, ясно дающая о себе знать у Фреге ¹⁶⁾, лежит в основании расселовского понятия неполных символов, определяемых в употреблении ¹⁷⁾; она также неявно предполагается верификационистской теорией значения, поскольку объектами верификации являются высказывания.

Радикальный редукционизм, который теперь имеет дело с высказываниями как единицами анализа, ставит перед собой задачу выделения языка чувственных данных и показа того, как предложение за предложением перенести на него остальную часть научного дискурса. Карнап реализует этот проект в «Aufbau».

Язык, который Карнап принимает в качестве исходного, не был языком чувственных данных в его узком смысле, поскольку он включал в себя также логические символы, вплоть до теории множеств. В действительности он включал в себя весь язык высшей математики в целом. Заключенная в нем онтология (т. е. область значения его переменных) охватывала не только чувственные события, но и классы, классы классов и так далее. Эмпириками были те, кто в испуге останавливался перед такой щедростью. Исходный пункт Карнапа был, однако, довольно экономным в том, что касалось его нелогической или чувственной части. В серии конструкций, при построении которых Карнап с большой изобретательностью использовал ресурсы современной логики, он преуспел в определении большого ряда важных дополнительных чувственных понятий, которые, если бы они не служили целям его конструкций, вряд ли можно было бы вообразить определимыми на такой скудной основе. Карнап был первым эмпириком, который, не довольствуясь идеей сводимости науки к терминам непосредственного опыта, предпринял серьезные шаги для осуществления такой редукции.

Даже если исходный пункт Карнапа является удовлетворительным, то тем не менее его конструкции были, как он сам указывал, только отдельным фрагментом всей программы в целом. Конструкция даже простейших высказываний о физическом мире остается у него схематическим наброском. Тем не менее соображения

Карнапа по этому поводу, несмотря на их схематичность, были весьма ценными. Он объяснил пространственно-временные точки-моменты как четверки действительных чисел и предусмотрел приписывание чувственных качеств точкам-моментам в соответствии с определенными правилами. Если обобщить эту позицию, то план заключался в том, чтобы приписывать чувственные качества точкам-мгновениям таким способом, чтобы получить [описание] мира, сравнимое с нашим опытом. Принцип минимального действия должен был быть нашим руководителем в конструировании мира из опыта.

Тем не менее Карнап, по-видимому, не признавал, что его размышление о физических объектах не позволяет осуществить редукцию не в силу своей схематичности, а в принципе. Высказывания формы «качество q в точке-мгновении $x; y; z; t$ » должны были, согласно его правилам, получить истинностные значения с тем, чтобы максимизировать и минимизировать определенные избыточные свойства, и с ростом опыта истинностные значения должны были бы прогрессивно пересматриваться в том же самом духе. Я думаю, что это правильное (хотя и чрезмерно упрощенное) описание научного исследования, однако оно не дает нам никаких указаний относительно того, как высказывание формы «качество q в точке-мгновении $x; y; z; t$ могло бы быть переведено в исходный карнаповский язык чувственных данных и логики. Связка «находится в» является дополнительной неопределенной связкой; правила рекомендуют нам, как ее использовать, но не как ее устранить.

Впоследствии Карнап, как кажется, оценил это обстоятельство; поскольку в его поздних работах он отрицает все понятия переводимости высказываний о физическом мире в высказывания о непосредственном

опыте. Редукционизм в его радикальной форме больше уже не встречается в философии Карнапа.

Однако догма редукционизма продолжала, хотя и в более утонченной форме, оказывать влияние на мышление эмпириков. Понятие утверждало, что со всяким высказыванием, или со всяким синтетическим высказыванием, ассоциируется однозначный ряд возможных чувственных данных (event), таких, что появление (occurrence) любого из них будет вносить вклад в оценку данного высказывания как истинного, и что с ним ассоциируется также другой однозначный ряд возможных чувственных данных, таких, что событие любого из них будет вносить вклад в противоположную оценку данного высказывания. Это понятие в действительности скрыто подразумевается в верификационистской теории значения.

Догма редукционизма возрождается в предположении, что любое высказывание, взятое в изоляции от своих соседей, вообще может подтверждаться или не подтверждаться. Мое противоположное предположение, вытекающее, по существу, из учения Карнапа о физическом мире в «Aufbau», заключается в том, что наши высказывания о внешнем мире сталкиваются с трибуналом чувственного опыта не поодиночке, но исключительно в виде связного целого¹⁸⁾.

Догма редукционизма, даже в ее ослабленной форме, тесно связана с другой догмой, согласно которой существует различие между аналитическим и синтетическим. Таким образом, через верификационистскую теорию значения мы пришли от второй проблемы к первой. Говоря точнее, одна догма поддерживает другую следующим образом: если считается значимым говорить о подтверждении или неподтверждении отдельного высказывания чувственным

опытом, то вполне осмысленно говорить также о предельном случае высказывания, которое подтверждается *ipso facto*¹⁹ чем угодно; и такое высказывание является аналитическим.

В действительности обе догмы являются тождественными. Мы выяснили, что в общем и целом истинность высказываний зависит как от опыта, так и от экстралингвистических фактов; и мы отметили, что это обстоятельство в свою очередь приводит к тому, что истина высказывания может быть разложена на два компонента: на лингвистический компонент и фактический компонент. Фактический компонент должен, если мы являемся эмпириками, сводиться к ряду подтверждающих опытов. В предельном случае, когда лингвистический компонент составляет все содержание высказывания, истинное высказывание является аналитическим. Но я надеюсь, что теперь мы находимся под сильным впечатлением того, насколько упорно различие между аналитическим и синтетическим сопротивлялось какому-либо прямому очерчиванию. Кроме того, я впечатлен также и тем, вне зависимости от заранее приготовленных экземпляров черных и белых шаров, находящихся в урне, сколь трудной всегда была проблема выработки теории эмпирического подтверждения синтетического высказывания. Мое нынешнее предположение заключается в том, что это бессмыслица и источник еще большей бессмыслицы — говорить о лингвистической компоненте и фактической компоненте в истине каждого отдельного предложения. Взятая в целом, наука испытывает эту двойную зависимость от языка и опыта; однако эта двойственность не может быть осмысленно прослежена до высказываний науки, взятых по отдельности.

Идея определения символа в употреблении была попыткой разрешить проблему невозможности эмпиризма Локка и Юма, основанного на редукции, осуществляемой термин за термином. После Фреге уже скорее высказывание, чем термин, стало признаваться значимой единицей, подлежащей эмпирической критике. Однако в настоящее время я утверждаю, что, даже принимая в качестве единицы высказывание, мы проводим координатную сетку слишком робко. Единицей эмпирической значимости (significance) является вся наука в целом.

6 Эмпиризм без догм

Вся совокупность нашего так называемого знания или убеждений, начиная с не поддающихся обобщению фактов географии и истории и заканчивая основополагающими законами атомной физики и даже чистой математики и логики, есть человеческая конструкция, которая соприкасается с опытом только по краям. Или, выражаясь по-иному, наука в целом подобна силовому полю, пограничными условиями которого является опыт. Конфликт с опытом на периферии вызывает перестройку внутри самого поля. Приходится перераспределить истинностное значение некоторых наших высказываний. Переоценка одних высказываний влечет за собой переоценку других в силу их логических взаимосвязей — логические законы оказываются, в свою очередь, просто определенными высказываниями системы, некоторыми элементами поля. Подвергнув переоценке одно высказывание, мы оказываемся вынужденными подвергнуть переоценке и целый ряд других, которые могут быть как высказываниями, логически связанными с первым высказыванием, так и высказываниями о самих логических взаимосвязях. Но поле в целом так определено в основе его пограничными

условиями, опытом, что существует довольно широкий выбор в отношении того, какие высказывания подлежат переоценке в свете любого отдельного противоречивого опыта. Никакой отдельный опыт не связан с какими-либо отдельными высказываниями внутри поля иначе, нежели косвенно, благодаря соображениям равновесия, воздействующего на поле как целое.

Если эта точка зрения верна, то ошибочно говорить об эмпирическом содержании отдельного высказывания — в особенности если это высказывание, вообще отдаленное от опытной периферии поля. Более того, глупо искать границу между синтетическими высказываниями, истинность которых случайно обусловлена обстоятельствами, зависящими от опыта, и аналитическими высказываниями, которые истинны при любых обстоятельствах. Всякое высказывание может считаться истинным при любых обстоятельствах, если мы производим достаточно радикальные изменения где-то в системе. Даже высказывание, находящееся в непосредственной близости к периферии, может считаться истинным перед лицом противоречивого опыта — путем ссылки на галлюцинации или путем исправления высказываний определенного вида, именуемых логическими законами. И наоборот, ни одно высказывание не гарантировано от исправления. Исправление даже логического закона исключенного третьего было предложено в качестве средства упрощения квантовой механики; и какая принципиальная разница существует между этим поворотом событий и таким поворотом событий, когда Кеплер вытеснил Птолемея, или Эйнштейн — Ньютона, или Дарвин — Аристотеля.

Ради живости я рассуждал, используя термины изменяющихся расстояний от чувственной периферии. Позвольте мне теперь прояснить это понятие, не

обращаясь к метафоре. Некоторые высказывания, хотя они и являются высказываниями о физических объектах, а не о чувственном опыте, выглядят особенно относящимися к чувственному опыту — причем избирательным образом: одни высказывания — к одним опытам, другие — к другим. Такие высказывания, в особенности относящиеся к отдельным чувственным опытам, я описываю как близкие к периферии. Однако под этим отношением «отнесенности» я имею в виду не более чем свободную ассоциацию, отражающую на практике относительную предпочтительность отбора нами скорее одного высказывания, чем другого, для исправления в случае противоречащего опыта. Например, мы можем обнаружить противоречивые опыты, с которыми мы, ясное дело, будем склонны согласовать нашу систему путем переоценки именно высказывания, что существуют каменные дома на Элм-стрит, вместе с другими высказываниями, относящимися в данной проблеме. Мы можем также вообразить другие противоречивые опыты, с которыми мы будем склонны согласовать нашу систему путем переоценки именно высказывания, что кентавров не существует, наряду с родственными высказываниями. Я утверждал, что противоречивый опыт может быть согласован путем любой из различных альтернативных переоценок в различных альтернативных частях всей системы в целом; однако в тех случаях, которые мы воображаем себе в данный момент, наша естественная тенденция затрагивать всю систему в целом как можно меньше приведет нас к тому, что мы сосредоточим наши исправления на специфических высказываниях, касающихся каменных домов на Элм-стрит и кентавров. Эти высказывания поэтому выглядят обладающими более четко выраженной эмпирической референцией, чем более теоретические высказывания физики, или логики, или онтологии. Эти

последние высказывания могут считаться находящимися приблизительно в центре всей сети в целом; это значит только то, что они имеют мало предпочтительной связи с какими-либо чувственными данными.

Как эмпирик, я продолжаю считать концептуальную схему науки инструментом для предсказания будущего опыта в свете прошлого опыта. Физические объекты концептуально вводятся в ситуацию как удобные посредники, причем не путем их объяснения в терминах опыта, но просто как несводимые постулируемые сущности (posits)²⁰⁾, эпистемологически сопоставимые с богами Гомера. Что касается меня, то я, как правоверный физик, верю в физические объекты, а не в гомеровских богов, поскольку было бы научной ошибкой думать иначе. Но с точки зрения эпистемологии физические объекты и боги Гомера отличаются только по степени, а не в принципе. Оба типа сущностей входят в наше познание только как культурные постулируемые сущности. Миф о физических объектах эпистемологически превосходит большинство других мифов в том отношении, что он оказался более эффективным, чем другие мифы, в качестве устройства для выработки поддающейся управлению структуры потока опыта.

Постулирование не ограничивается уровнем макроскопических физических объектов. Объекты на атомном уровне постулируются для того, чтобы сделать законы макроскопических объектов, а в конечном счете и законы опыта, более простыми и более измеримыми; и нам нужно ожидать или требовать полного определения атомных и субатомных сущностей в терминах макроскопических сущностей не в большей степени, чем требовать определения макроскопических вещей в терминах чувственных данных. Наука является

продолжением здравого смысла, и она продолжает его в смысле целесообразного увеличения онтологии для упрощения теории.

Физические объекты, большие и малые, не являются единственными постулированными сущностями; и теперь мы знаем, что граница между энергией и материей является устаревшей. Более того, абстрактные сущности, которые являются субстанцией математики, — классы, классы классов и так далее — являются другими постулированными сущностями в том же самом духе. Эпистемологически они являются мифами того же уровня, что и физические объекты и боги, не лучше, и не хуже, за исключением различий в той степени, в которой они упрощают наши контакты с чувственным опытом.

Алгебра рациональных и иррациональных чисел в целом недоопределена алгеброй рациональных чисел, но является более однородной и удобной; и она включает в себя алгебру рациональных чисел в качестве структурированной части ²¹⁾. Вся наука в целом, математическая, естественная и гуманитарная, сходным образом, хотя и в большей степени недоопределена опытом. Края системы должны согласовываться с опытом; целью же всей остальной части системы, со всеми ее тщательно разработанными мифами и фикциями, является простота законов.

Согласно этой точке зрения, онтологические вопросы находятся на одном уровне с вопросами естественной науки ²²⁾. Рассмотрим вопрос, считать ли нам классы сущностями. Это, как я утверждал в другом месте, вопрос о том, проводить ли квантификацию относительно таких переменных, которые имеют своими значениями классы. Со своей стороны, Карнап ²³⁾ считал, что это вопрос не о факте, но о выборе подходящей языковой формы, подходящей концептуальной схемы или каркаса науки. Я

согласен с этим, но только с тем добавлением, что то же самое верно и в отношении научных гипотез вообще. Карнап²⁴ признал, что он в состоянии сохранить двойной стандарт для онтологических вопросов и научных гипотез, только допуская абсолютное различие между аналитическим и синтетическим; мне нет необходимости повторять, что это то самое различие, которое я отвергаю²⁵⁾.

Вопросы о том, существуют ли классы, выглядят по большей части вопросами удобной концептуальной схемы; вопросы о том, существуют ли кентавры или каменные дома на Элм-стрит, выглядят скорее как вопросы факта. Однако я утверждал, что это различие является различием только по степени и что оно зависит от нашей смутно прагматической склонности приводить скорее одну, чем другую, нить конструкции науки в соответствие с каким-то отдельным противоречивым опытом. В таких выборах важную роль играет консерватизм, равно как и поиск простоты.

Карнап, Льюис и другие принимают прагматическую точку зрения на вопрос о выборе между лингвистическими формами, научными каркасами; но их прагматизм останавливается перед воображаемой границей между аналитическим и синтетическим. Отказываясь признавать такую границу, я поддерживаю более последовательный прагматизм. Всякий человек обладает научным наследием плюс непрерывным потоком чувственной стимуляции; и те размышления, что руководят им при приспособлении его научного наследия, чтобы оно соответствовало непрерывным чувственным стимуляциям, являются, коль скоро они рациональны, прагматическими.

Комментарии:

- ¹⁾ См.: Quine W. From a Logical Point of View. Harvard University Press, 1961, p. 9.
- ²⁾ Ibid., p. 10, 107—115.
- ³⁾ См.: Quine W. V. From a Logical Point of View. Harvard University Press, 1961, p. 11 и далее, pp. 46 и далее.
- ⁴⁾ Carnap R. Meaning and Necessity. Chicago: University of Chicago Press, 1947, pp. 9 и далее: Carnap R. Logical Foundation of Probability. Chicago: University of Chicago Press, 1950, pp. 70 и далее.
- ⁵⁾ Согласно одному из важных смыслов слова «определение», сохраняемое отношение может быть более слабым отношением соответствия по своей референции; см.: Quine W. V. From a Logical Point of View, p. 132. Однако определение в этом смысле было бы лучше игнорировать в связи с темой нашего исследования, поскольку оно не имеет отношения к проблеме синонимии.
- ⁶⁾ Ср.: Lewis C. I. A Survey of Symbolic Logic. Berkeley, 1918, p. 373.
- ⁷⁾ Это — познавательная синонимия в исходном, широком смысле этого слова. Карнап (Carnap R. Meaning and Necessity. Chicago: University of Chicago Press, 1947, pp. 56 и далее) и Льюис (Lewis C. I. An Analysis of Knowledge and Valuation. LaSalle, Ill.: Open Court, 1946, pp. 83 и далее) выдвинули свои объяснения того, как, имея в распоряжении это исходное понятие, можно вывести из него более узкое понятие познавательной синонимии, более предпочтительное с точки зрения определенных целей. Однако это особенное следствие образования понятий не имеет отношения к теме наших рассуждений и не должно смешиваться с более широкой разновидностью познавательной синонимии, о которой в данном случае идет речь.

- ⁸⁾ В работе "From a Logical Point of View", p. 81, содержится описание такого точно языка, за исключением разве что того, что в том языке имеется только один предикат, а именно, двухместный предикат «е».
- ⁹⁾ См.: Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 5—8; 85 и далее; 166 и далее.
- ¹⁰⁾ См.: Quine W. V. From a Logical Point of View, p. 87.
- ¹¹⁾ По поводу подобного рода требований см. также очерк VIII.
- ¹²⁾ В этом суть работы: Quine W. V. Mathematical Logic. New York: Norton, 1940.
- ¹³⁾ Выражение «тогда и только тогда» понимается здесь в истинностно-функциональном ключе. См.: Carnap R. Meaning and Necessity. Chicago: University of Chicago Press, 1947, p. 14.
- ¹⁴⁾ Предыдущий параграф не был частью данного очерка в его первоначальном виде. Он был подсказан мне Мартином, равно как и завершающий раздел очерка 7.
- ¹⁵⁾ Эта доктрина, конечно же, может быть сформулирована применительно к терминам, а не к высказываниям в качестве единиц анализа. Так, Льюис описывает значение термина как «критерий, находящийся в уме, благодаря обращению к которому человек способен применить или же отказаться от применения соответствующего выражения в случае, когда имеются данные, или же воображаемые, вещи или ситуации» (Lewis C. I. An Analysis of Knowledge and Valuation. La Salle: Open Court, 1946, p. 133). По поводу убедительного объяснения злословных верификационистской теории значения, правда, скорее в связи с проблемой осмысленности, нежели чем с проблемами синонимии и аналитичности, см. Гемпеля (Hempel C. G. Problems and Changes in the

Empiricist Criterion of Meaning // *Revue Internationale de Philosophie*, №4, 1950, pp. 41—63).

¹⁶⁾ Frege G. *Foundations of Arithmetic*. New York: Philosophical Library, 1950, § 60.

¹⁷⁾ См.: Quine W. V. *From a Logical Point of View*. New York: Harper, 1963, p. 6.

¹⁸⁾ Эта доктрина отстаивалась Дюэмом (Duhem P. *La Theorie physique: son objet et sa structure*. Paris, 1906, pp. 303—328). Или же см.: Ловингера (Lowinger A. *The Methodology of Pierre Duhem*. New York: Columbia University Press, 1941, pp. 132—140).

¹⁹⁾ Тем самым (лат.).

²⁰⁾ Quine W. V. *From the Logical Point of View*. New York: Harper, 1963, p. 17 и далее.

²¹⁾ Quine W. V. *From a Logical Point of View*. New York: Harper, 1963, p. 18.

²²⁾ «L'ontologie fait corps avec la science elle-meme et ne peut en ere separee» (Meyerson E. *Identite et realite*. Paris, 1908; 4th ed., 1932, p. 439).

²³⁾ Carnap R. *Empiricism, semantics and ontology* // *Revue international de philosophie*, № 4, 1950, pp. 20—40.

²⁴⁾ Ibid., p. 32, сноска.

²⁵⁾ По поводу других убедительных сомнений по поводу этого различия см. Уайта (White M. *The analytic and the synthetic: an untenable dualism* // Hook S. (ed.), *John Dewey: Philosopher of Science and Freedom*. New York: Dial Press, 1950, pp. 316—330).

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

Уиллард Ван Орман Куайн

Сокращенный перевод с английского А.А.Печенкина

Quine W.V.O. Ontological Relativity //The Journal of Philosophy. 1968. Vol. LXV, № 7. P. 185-212. Перепечатано: Quine W.V.O Ontological Relativity and Other Essays. N.Y., 1969. Перевод с сокращениями выполнен по журнальной статье. Пропуски отмечены знаком <...>.

I

Я слушал лекции Дьюи по искусству как опыту, когда был выпускником университета в 1931 г. Дьюи был в Гарварде первым лектором, читавшим цикл лекций им. Вильяма Джемса. Теперь я горжусь, что был первым лектором цикла лекций Джона Дьюи ¹⁾.

Философски я был связан с Дьюи через натурализм, являвшийся доминантой его творчества на протяжении трех последних десятилетий его жизни. Вместе с Дьюи я считал, что знание, разум и значение суть части того мира, с которым они имеют дело, и что они должны изучаться в том же эмпирическом духе, который оживляет естественные науки. Для первой философии места нет.

Когда философ натуралистического склада обращается к философии духа, он обязан говорить о языке. Значения суть значения языка. Язык же является социальным искусством, которым мы все овладеваем целиком и полностью на основании явного поведения других людей при общественно распознаваемых обстоятельствах. Однако значения, эти призраки мысленных сущностей, делают сомнительным доход бихевиоризма. Дьюи был предельно ясен в своей позиции: “Значение не является психической сущностью, оно является свойством поведения” (Dewey, 1925, p. 179).

Зафиксировав институт языка в этих терминах, мы увидели, что, однако, не может существовать какого-либо

личного языка. Этот момент был отмечен Дьюи еще в 20-х годах. “Монолог,- писал он,- продукт и рефлекс разговора с другими” (там же, с. 170). Позже он объяснял это таким образом: “Язык – это специфический модус взаимодействия по крайней мере двух единиц бытия – говорящего и слушающего, он предполагает организованную группу, к которой эти создания принадлежат и из которой они черпают свой навык речи. Язык – всегда отношение” (там же, с. 185). Годом позже Витгенштейн также отверг личный язык. Когда Дьюи писал в такой натуралистической манере, Витгенштейн еще придерживался своей теории копирования ²⁾.

Теория копирования (the copy theory) в ее различных формах стоит ближе к основной философской традиции, а также к современной установке здравого смысла. Некритическая семантика является мифом о музее, в котором значения – экспонаты, а слова – ярлыки. Переключиться с одного языка на другой значит сменить ярлыки. Главное возражение натурализма против этой позиции состоит не в том, что значения объясняются как мысленные сущности, хотя и этого возражения достаточно. Главное возражение сохранялось бы даже в том случае, если бы экспонаты под ярлыками были не мысленными сущностями, а платоновскими идеями или даже конкретными объектами – денотатами. Семантика будет страдать от пагубного ментализма, пока мы рассматриваем семантику человека как что-то, определяемое в уме человека, за пределами того, что может быть явно показано в его поведении. Самые сокровенные факты, касающиеся значения, не заключаются в подразумеваемой сущности, они должны истолковываться в терминах поведения.

Познание слова состоит из двух частей. Первая заключается в ознакомлении с его звучанием и в

способности воспроизвести его. Это фонетическая часть, которая достигается путем наблюдения и имитации поведения других людей. С этим процессом, по-видимому, все ясно. Другая часть, семантическая, заключается в познании, как использовать это слово. Эта часть, даже в парадигмальных случаях, оказывается более сложной, чем фонетическая ³⁾. Слово, если брать парадигмальный случай, относится к какому-либо наблюдаемому объекту. Обучаемый должен теперь не только узнать слово фонетически, услышав его от говорящего, он также должен видеть объект и в дополнение к этому, чтобы установить соответствие между словом и объектом, он Должен видеть, что говорящий также видит тот же самый объект. Дьюи формулировал это следующим образом: “Характеристическая теория понимания некоторым В звуков, издаваемых А, состоит в том, что В реагирует на вещи, ставя себя на место А” (там же, с. 178). Каждый из нас, изучая язык, учится на поведении своего ближнего. И соответственно, поскольку наши попытки одобряются и корректируются, мы становимся теми объектами, поведение которых изучают наши ближние.

Семантическая часть познания некоторого слова оказывается, стало быть, более сложной даже в простых случаях: мы должны видеть, что стимулирует другого говорящего. В случае же, если слово не непосредственно относится к некоторым наблюдаемым свойствам вещей, процесс обучения становится значительно более сложным и темным; эта темнота и есть питательная среда для менталистской семантики. На чем настаивает натуралист? На том, что даже в сложных и темных случаях изучения языка обучающийся не имеет никаких данных, с которыми он мог бы работать, кроме наблюдаемого поведения других говорящих.

Когда вместе с Дьюи мы принимаем натуралистический взгляд на язык и обращаемся к бихевиористской концепции значения, мы не только отказываемся от музейного модуса речи. Мы отказываемся от уверенности в определенности. Согласно мифу о музее, слова и предложения языка имеют свои определенные значения. Мы открываем для себя значения слов туземца, наблюдая поведение этого туземца. Оставаясь, однако, в рамках мифа о музее, мы считаем, что эти значения определены умом туземца, его ментальным музеем, причем даже в тех случаях, когда поведенческие критерии позволяют нам их идентифицировать. Если мы, с другой стороны, признаем вместе с Дьюи, что “значение есть прежде всего свойство поведения”, то признаем, что не существует значений, различия и подобия значений, скрывающихся за пределами наблюдаемых свойств поведения. С позиции натурализма вопрос о том, обладают ли два выражения подобными значениями, не имеет определенного ответа (известного или неизвестного), пока ответ не установлен на принципиальной базе речевых диспозиций (известных или неизвестных) людей. Если эти стандарты ведут к неопределенному ответу, то таково само значение и подобие значений.

Чтобы показать, какого рода была бы эта неопределенность, предположим, что в некотором далеком (remote) языке какое-либо выражение может быть переведено на английский двумя равно защитимыми способами. Я не говорю о неопределенности внутри родного языка. Я допускаю, что одно и то же выражение, употребленное туземцами, может быть по-разному переведено на английский язык, причем каждый перевод может быть отрегулирован за счет компенсирующих корректировок в переводе других слов. Пусть оба перевода, каждый из которых связан со своими

компенсирующими корректировками, одинаково хорошо согласуются с наблюдаемым поведением говорящих на туземном языке и говорящих по-английски. Пусть они согласуются не только с наблюдаемым поведением говорящих, но и со всеми их диспозициями к поведению. Тогда в принципе будет невозможно узнать, какой из этих переводов правильный, а какой нет. Если бы миф о музее был верным, то существовал бы и предмет для решения вопроса о правильности одного из переводов. С другой стороны, рассматривая язык натуралистически, нельзя не заметить, что вопрос о правдоподобии значения в данном случае будет просто бессмысленным.

Пока я рассуждал чисто гипотетически. Обращаясь теперь к примерам, начну с одного разочаровывающего и провокационного. Во французской конструкции “ne ...rien” rien можно перевести на английский по желанию равно как все и как ничто и затем приспособить свой выбор, переводя ne как нет или прибегая к многословию. Это разочаровывающий пример, ибо вы можете возразить, что я просто взял слишком маленькую единицу французского языка. Вы можете продолжать разделять менталистский миф о музее и заявить, что rien само по себе не имеет значения, не являясь полным ярлыком, оно представляет собой часть “ne ...rien”, которое имеет значение как целое.

Я начал с разочаровывающего примера, ибо думаю, что его бросающаяся в глаза черта — обусловленность слишком малым, чтобы нести значение, сегментом языка — весьма существенна и для более серьезных случаев. Что я имею в виду под более серьезными случаями? Это случаи, в которых сегменты достаточно длинны, чтобы быть предикатами и быть истинными в отношении вещей, следовательно, нести значения.

Искусственный пример, который я уже использовал (Quine, 1960, № 12), обусловлен фактом, что целый кролик наличествует тогда и только тогда, когда наличествует какая-либо его неотделимая часть, и тогда и только тогда, когда наличествует ситуация “появления кролика в поле зрения в данный момент времени”. Если бы мы поинтересовались, переводится ли туземное выражение “гавагаи” как “кролик”, или как “неотделимая часть Кролика”, или как “появление кролика в поле зрения”, мы никогда не смогли бы решить этот вопрос путем остенсии (простого указывания пальцем), то есть просто испытующе повторяя выражение “гавагаи”, чтобы получить согласие или несогласие туземца, каждый раз подбирая к этому выражению тот или другой Имеющийся в наличии стимул.

Прежде чем разворачивать аргументацию в пользу того, что мы не можем решить вопрос и неостенсивным способом, позвольте мне немного поглумиться над этой остенсивной предикаментой ⁴⁾. Я не тревожусь, как тревожился Витгенштейн, по поводу простых случаев указания пальцем (Wittgenstein, 1953, p. 14; Витгенштейн, 1985, с. 101). Красочное слово “сепия” (возьмем один из его примеров) может, конечно, быть заучено обычным путем подбора примеров, или индукции. Мы не нуждаемся даже в том, чтобы нам сказали, что сепия – это цвет, а не форма, или материал, или артикль. Правда, если не прибегать к таким подсказкам, вероятно, потребуется много уроков для того, чтобы исключить неправильные обобщения, базирующиеся на форме, материале и т.д., а не на цвете, и для того, чтобы исключить неправильные представления, касающиеся подразумеваемой границы показанного примера, и для того, чтобы определить границы допустимых вариантов самого цвета. Как и всякий подбор примеров, или индукция, этот процесс

зависит в конечном счете также от нашей врожденной предрасположенности воспринимать один стимул более родственным второму, нежели третьему; в противном случае никогда не было бы какого-либо селективного усиления или затухания реакции. Все же в принципе ничего, кроме подбора примеров или индукции, не требуется для заучивания “сепии”.

Однако между “кроликом” и “сепией” имеется огромная разница, состоящая в том, что “сепия” – термин массы, наподобие “воды”, “кролик” же – термин расходящейся референции. С ним как таковым невозможно справиться, не справившись со свойственным ему принципом индивидуализации: где исчезает один кролик и возникает другой. А с этим невозможно справиться путем простого указания пальцем, пусть даже настойчивого.

Таково затруднение с этим “гавагаи”: где один гавагаи исчезает, а другой появляется. Различие между кроликами, неотделимыми частями кроликов и временным наличием кролика в поле зрения лежит исключительно в их индивидуализации. Если выделить целиком дисперсную часть пространственно-временного мира, состоящую из кроликов, другую, состоящую из неотделимых кроличьих частей, и третью, состоящую из наличия кроликов в поле зрения в данный момент времени, то все три раза мы будем иметь дело с одной и той же дисперсной частью мира. Единственное различие заключается в способе деления на части. А этому способу не сможет научить ни остенсия, даже настойчиво повторяемая, ни простой подбор примеров.

Рассмотрим отдельно проблему выбора между “кроликом” и “неотделимой частью кролика” при переводе “гавагаи”. Нам не известно ни одного слова туземного языка, кроме того, которое мы зафиксировали, выдвинув рабочую гипотезу относительно того, какие

слова туземного языка и жесты туземцев толковать как выражение согласия или несогласия в ответ на наши указывания и вопрошания. Теперь трудность состоит в том, что, когда бы мы ни указывали на различные части кролика, пусть даже закрывая оставшуюся часть кролика, мы все равно каждый раз указываем на целого кролика. Когда же, наоборот, мы охватывающим жестом обозначаем целого кролика, мы все же указываем на множество его частей. И заметим, что, спрашивая “гавагаи?”, мы не можем использовать туземный аналог нашего окончания множественного числа. Ясно, что на этом уровне не может быть найдено даже пробного решения в выборе между “кроликом” и “неотделимой частью кролика”.

Как же мы в конце концов решаем этот вопрос? То, что я только что сказал об окончании множественного числа, — это часть ответа. Наша индивидуализация терминов разделительной референции в английском языке тесно связана с кластером взаимосвязанных грамматических частиц и конструкций: окончаний множественного числа, местоимений, числительных, знаков тождества (the “is” of identity) и адаптации “тот же самый” и “другой”. Это кластер взаимосвязанных приспособлений, среди которых центральное место принадлежит квантификации, когда накладывается регламентация символической логики. Если бы мы могли спросить туземца на его языке: “Является ли этот гавагаи тем же, что и тот?”, — делая тем временем соответствующие неоднократные остенсивные указания, то, действительно, мы бы справились с проблемой выбора между “кроликом”, “неотделимой кроличьей частью” и “наличием кролика в поле зрения в данный момент времени”. И, действительно, лингвист после многих трудов получает в конечном итоге возможность спросить, каковы смыслы, содержащиеся в

этом вопросе. Он развивает контекстуальную систему для перевода в туземное наречие нашего множественного числа, числительных, тождества и родственных приспособлений. Он развивает такую систему путем абстракций и гипотез. Он отделяет частицы и конструкции туземного языка от наблюдаемых туземных предложений и пытается сопоставить их тем или иным образом с английскими частицами или конструкциями. Поскольку предложения туземного языка и ассоциированные с ними лингвистом предложения английского языка, по всей видимости, подходят друг к другу в плане использования их в соответствующих ситуациях, постольку наш лингвист ощущает подтверждение своих гипотез перевода. Я называю эти гипотезы аналитическими (Quine, 1960, p. 15).

Однако этот метод при всем его практическом достоинстве и при том, что он – лучшее из всего того, на что мы можем надеяться, по всей видимости, не решает в принципе проблему неопределенности перевода, неопределенности между “кроликом”, “неотделимой частью кролика” и “временным появлением кролика в поле зрения”. Ибо если одна рабочая полная система аналитических гипотез обеспечивает перевод данного туземного выражения в “то же самое, что...”, то не исключено, что другая равно работоспособная, но систематически отличающаяся система переводит это туземное выражение в нечто подобное “сочетается с...”. Таким образом, не исключено, что когда мы на туземном языке пытаемся спросить: “Является ли этот гавагаи тем же самым, что и тот?”, – мы на деле спрашиваем: “Сочетается ли этот гавагаи с тем?” Ведь одобрение со стороны туземца не является объективным доказательством для перевода “гавагаи” как “кролик”, а не “кроличья часть” или “появление кролика в поле зрения в

данный момент времени”. Этот искусственный пример имеет ту же структуру, что и приведенный выше пример “ne ... rien”. Мы могли перевести “rien” как “все” или как “ничего” благодаря компенсирующему обращению с “ne”. И я полагаю, что мы можем перевести “гавагаи” как “кролик” или как “неотделимая часть кролика”, или как “появление кролика в поле зрения в данный момент времени” благодаря компенсирующей регулировке в переводе сопровождающих оборотов речи. Другие регуляции могли бы означать перевод “гавагаи” как “крольчонок” или каким-либо иным выражением. Я нахожу это принципиально достижимым, учитывая подчеркнуто структурный и контекстуальный характер любых соображений, способных вести нас к переводу на туземный язык английского кластера взаимосвязанных приспособлений индивидуализации. По всей видимости, всегда обязаны существовать самые разные возможности выбора перевода, каждая из которых справедлива при всех диспозициях к вербальному поведению со стороны всех, имеющих к этому отношение.

Лингвисту, проводящему полевые исследования, конечно, хватило бы здравого смысла, чтобы поставить знак равенства между “гавагаи” и “кролик”, вынося за пределы практики такие изощренные альтернативы, как “неотделимая часть кролика” и “появление кролика в поле зрения в данный момент времени”. Этот выбор, диктуемый здравым смыслом, и другие подобные ему помогли бы в свою очередь определить последующие гипотезы, касающиеся того, какие обороты речи туземного языка должны были бы соответствовать аппарату индивидуализации английского языка, и все, таким образом, пришло бы в полный порядок.

Неявная максима, направляющая выбор “кролика” и такие же выборы для других слов туземного языка, состоит в

том, что достаточно стабильный и гомогенный объект, передвигающийся как единое целое на контрастирующем фоне, представляет собой весьма вероятный референт короткого выражения. Если бы лингвист осознавал эту максиму, он, вероятно, возвел бы ее до уровня лингвистической универсалии или характерной особенности всех языков. Зачем ему вникать в ее психологическую навязчивость? Он, однако, был бы не прав; эта максима – его собственное измышление, позволяющая вносить определенность в то, что объективно неопределенно. Это очень разумное измышление, и я не могу порекомендовать ничего другого. Я только сделаю одно замечание философского характера.

С философской точки зрения интересно, кроме всего прочего, то, что в этом искусственном примере недоопределено не значение, а экстенционал, референция⁵⁾. Мои замечания о неопределенности первоначально ставили под удар подобие значений. Вы у меня воображали “выражение, которое могло бы быть переведено на английский в равной степени убедительно каждым из двух выражений, обладающими в английском языке несходными значениями”. Разумеется, подобие значений – туманное представление, вызывающее сомнение. Относительно двух предикатов, обладающих подобными экстенционалами, нельзя сказать с уверенностью, подобны ли их значения или нет; вспомним старый вопрос о беспёром двуногом и разумном животном или о равноугольном или равностороннем треугольниках. Референция, экстенционал – твердо установимое; значение, интенционал – не твердо установимое. Неопределенность перевода снова приводит нас к различию между

экстенционалами. Термины “кролик”, “неотделимая кроличья часть” и “наличие кролика в поле зрения в данный момент времени” различаются не только по своим значениям, это действительно различные предметы. Сама референция оказывается поведенчески непознаваемой.

В узких пределах нашего собственного языка мы можем продолжать считать экстенциональный предмет беседы более ясным, чем ее интенциональный предмет. Ибо неопределенность между “кроликом”, “кроличьей частью” и остальным зависит исключительно от коррелятивной неопределенности перевода аппарата индивидуализации английского языка — аппарата местоимений, множественного числа, тождества, числительных, и т.д. Пока мы мыслим этот аппарат данным и фиксированным, никакая неопределенность не дает себя знать. Принимая этот аппарат, Мы не испытываем трудностей с экстенсионалом: термины имеют один и тот же экстенсионал, если они действительно относятся к тождественным предметам. В свою очередь, на уровне радикального перевода сам экстенсионал становится загадочным, неопределенным. <...>

Остенсивная неразличимость абстрактной сингулярности от конкретной общности оборачивается тем, что может быть в отличие от непосредственной остенсии названо смещенной остенсией (*deferred ostension*). Точкой остенсии я буду называть точку, в которой линия указывающего пальца впервые пересекает непрозрачную поверхность. Тогда непосредственной остенсией будет такая, при которой термин, остенсивно объясняемый, действительно относится к тому, что содержит точку остенсии. Даже эта непосредственная остенсия включает в себе неопределенности, и эти неопределенности общеизвестны. Ведь заранее не ясно, в каких размерах должна мыслиться окружающая среда точки остенсии,

чтобы быть охваченной термином, остенсивно объясняемым. Неясно также, насколько далеко предмет или вещество могут отстоять от того, на что сейчас направлена остенсия, чтобы все же быть охваченными термином, остенсивно объясняемым. Обе эти неясности в принципе могут быть устранены путем индукции через неоднократные остенсии. Также, если термин – термин делимой референции, вроде “яблоко”, то возникает вопрос об индивидуализации, т.е. вопрос о том, где один объект заканчивается, а другой начинается. Это тоже может быть улажено путем индукции через неоднократные остенсии более утонченного вида, сопровождаемые выражениями вроде “то же самое яблоко” и “другое”, но улажено в том случае, если эквивалент аппарата индивидуализации английского языка установлен, в противном случае неопределенность сохраняется, что иллюстрирует пример с “кроликом”, “неотделимой кроличьей частью” и “появлением кролика в поле зрения в данный момент времени”.

Такова ситуация с непосредственной остенсией. Другой тип остенсии я называю смещенной (deferred) остенсией. Она имеет место, когда мы указываем на канистру, а не на бензин, чтобы показать, что там бензин. Она также имеет место, когда мы объясняем абстрактный сингулярный термин “зеленый” или “альфа”, указывая на траву или на греческую надпись. Такое указание является непосредственной остенсией, когда оно используется, чтобы объяснить конкретные общие термины “зеленый” или “альфа”, но будет смещенной остенсией, когда используется, чтобы объяснить абстрактные сингулярные термины; ибо абстрактный объект, будь то цвет или буква “альфа”, не содержит ни точку остенсии, ни вообще какую-либо точку.

Смещенная остенсия весьма естественно возникает тогда, когда, как в случае канистры с бензином, мы держим соответствие в уме. Другой пример такого рода дает гёделевская нумерация выражений. Таким образом, если 7 приписывается в качестве гёделевского номера ⁶⁾ букве “альфа”, человек, вместивший в свое сознание гёделевскую нумерацию, без колебания говорит “семь”, указывая на написание рассматриваемой греческой буквы. Ясно, что это уже дважды смещенная остенсия: первая ступень смещения переводит нас от надписи к букве как абстрактному объекту, вторая ведет нас от него к этому номеру.

Обращаясь к нашему аппарату индивидуализации, если он доступен, мы можем различать между конкретно общим и абстрактно сингулярным использованием слова “альфа” это мы видели. Обращаясь снова к этому аппарату и, в частности, к аппарату тождества, мы, очевидно, можем решать также, использовано ли слово “альфа” в его абстрактном сингулярном смысле, чтобы именовать гёделевский номер буквы. В любом случае мы можем различать эти альтернативы, если мы, к нашему удовлетворению, локализовали также эквивалент того, что говоривший назвал номером “7”, ибо мы можем спросить его: действительно ли альфа есть 7.

Эти соображения показывают, что смещенная остенсия не добавляет новых существенных проблем к тем, которые встают при непосредственной остенсии. Коль скоро мы установили аналитические гипотезы перевода, охватывающие тождество и другие английские частицы, относящиеся к индивидуализации, мы можем разрешить не только затруднения с “кроликом”, “попаданием кролика в поле зрения в данный момент времени” и остальным, но также и с выражением и его гёделевским

номером — затруднения, возникающие при смещенной остенсии.

Это заключение, однако, слишком оптимистично. Непознаваемость референции проникает глубоко и сохраняется в своей утонченной форме, даже если мы примем в качестве зафиксированных и установленных тождество и остальной аппарат индивидуализации; даже если мы откажемся от радикального перевода и будем думать только об английском языке.

Рассмотрим ситуацию вдумчивого протосинтактика. В его распоряжении имеется система теории доказательства первого порядка, или протосинтаксис, чей универсум включает в себя только выражения, т.е. цепочки знаков некоего специального алфавита. Что же, однако, представляют собой эти выражения? Они суть изображения, символы (types), а не знаки (tokens) ⁷⁾. Конечно, можно предположить, что каждый из них представляет множество всех своих знаков. Иными словами, каждое выражение есть множество записей, по-разному размещенных в пространстве-времени, но сгруппированных вместе в силу их убедительного сходства в начертании. Связка x^u двух выражений, в данном порядке, будет множеством всех записей, каждая из которых состоит из двух частей, которые суть знаки x и соответственно u , следующих одна за другой в указанном порядке ⁸⁾. Но в таком случае x^u может быть пустым множеством, хотя x и u не пустые; ибо может статься, что записи, принадлежащие x и u , не следуют нигде в этом порядке и не следовали в прошлом и не будут следовать в будущем. Эта опасность возрастает с увеличением размеров x к u . Нетрудно видеть, что она приводит к нарушению закона протосинтаксиса говорящего, что $x = z$ всякий раз, когда $x^u = z^u$.

Таким образом, наш вдумчивый протосинтактик не будет истолковывать предметы своего универсума как множество записей. Он может, правда, рассматривать атомы, единичные знаки в виде множества записей, ибо в таких случаях не будет риска иметь дело с пустотой. И затем вместо того чтобы принимать в качестве множеств записей свои цепочки знаков, он может привлечь математическое понятие последовательности и трактовать эти цепочки как последовательности знаков. Известный способ трактовки последовательностей состоит в отображении их элементов на числовую ось. При таком подходе выражение или цепочка знаков становится конечным множеством пар, каждая из которых является парой из знака и числа.

Такое представление выражений искусственно и более сложно, чем то, которое возникает, если допустить, что переменные пробегают цепочки таких-то и таких-то знаков. Более того, это не неизбежный выход из положения; соображения, его мотивировавшие, могут быть учтены также в альтернативных конструкциях. Одна из этих конструкций – сама гёделевская нумерация, и она заметно более проста. Она использует только натуральные числа, в то время как упомянутая выше конструкция использует множества однобуквенных записей, а также натуральные числа и множества пар этих элементов. Каким же образом становится ясно, что именно в этом случае мы отказались от выражений в пользу чисел? То, что ясно теперь, – это только то, что в обеих конструкциях мы искусственно изобретаем модели, удовлетворяющие тем законам, которым наши выражения в некотором неэксплицированном смысле обязаны удовлетворять. <...>

Так много приходится говорить о предложениях. Рассмотрим теперь арифметика с его элементарной теорией чисел. Его универсум просто и ясно состоит из

натуральных чисел. Но более ли он ясен, чем универсум протосинтактика? Что же представляют собой натуральные числа? На этот счет имеются версии Фреге, Цермело и фон Неймана. Все эти версии взаимно несовместимые, но в одинаковой степени правильные. То, что производится в любой из названных экспликации натурального числа, состоит в сооружении теоретико-множественной модели, удовлетворяющей законам, которым натуральные числа должны по идее в некотором неэксплицированном смысле удовлетворять. Этот случай совершенно аналогичен протосинтаксису⁹⁾.

II

Я впервые убедился в непознаваемости референции с помощью примеров вроде примера с кроликом и частью кролика. В них была прямая остенсия, а непознаваемость референции была связана с неопределенностью перевода тождества и других приспособлений индивидуализации. Ситуация, заложенная в этих примерах, была ситуацией радикального перевода, перевода с далекого (от родного) языка, опирающегося лишь на данные поведения, при отсутствии направляющего наперед данного словаря. Делая затем шаг к смещенной остенсии и абстрактным объектам, мы обнаружили некоторую непрозрачность референции, свойственную и родному языку.

Теперь можно сказать, что даже в предыдущих примерах обращение к далекому языку было не слишком существенно. По более глубоком размышлении оказывается, что проблема радикального перевода начинается уже в родном языке. Должны ли мы ставить знак равенства между английскими словами, произносимыми нашим ближним, и той же самой цепочкой фонем в наших устах? Конечно, нет; порой мы и не приравниваем одно к другому. Иногда мы обнаруживаем, что наш ближний использует некоторое

слово, такое, как “холодный”, “квадратный” или “обнадеживающе”, не так, как мы, так что мы переводим это слово в иную Цепочку фонем в нашем идиолекте. Наши внутренние (характерные для родного языка) правила перевода в действительности омофоничны. Эти правила просто заключают в себе каждую цепочку фонем. Но мы все же всегда готовы сдерживать омофонию посредством того, что Нейл Вильсон назвал “принципом отзывчивости (charity)” (Wilson, 1959, p. 532). Время от времени мы толкуем слово, произнесенное ближним, гетерофонически, если видим, что это делает его речь, обращенную к нам, менее абсурдной.

Омофоническое правило всегда под рукой. Не случайно, что оно так хорошо работает, ведь имитация и обратная связь — это то, что способствует передаче, распространению языка. Мы получили огромный фонд базовых слов и фраз, имитируя наших старших и замечая признаки одобрения с их стороны, коль скоро в новой обстановке мы подходящим образом употребляем фразы. Омофонический перевод неявно включен в этот социальный метод обучения. Отклонение от этого перевода расстроило бы коммуникацию. Все же существуют относительно редкие случаи противоположного рода, когда по причине расхождений в диалекте или путаницы с индивидами омофонический перевод возбуждает отрицательную обратную связь. Но что позволяет ему оставаться в принципе незамеченным — это наличие обширной промежуточной области, где этот омофонический метод нейтрален. В этой области мы можем систематически по нашему желанию перетолковывать видимые ссылки нашего ближнего на кроликов как его ссылки действительно на появление кролика в поле зрения в данный момент времени и его видимые ссылки на формулы как его ссылки

действительно на гёделевские номера, и наоборот. Мы можем примирить все это с вербальным поведением нашего ближнего, хитро перестраивая наши переводы различных предикатов так, чтобы компенсировать переключение онтологии. Короче, мы можем и в родном языке воспроизвести непрозрачность референции. И бесполезно уточнять эти вымышленные варианты значений, подразумеваемых нашим ближним, спрашивая его, скажем, о том, что он реально подразумевает в своем высказывании – формулы или гёделевские номера, ибо и наш вопрос, и его ответ ("Конечно же, номера") уже выходит за рамки области, обозначаемой как омофонический перевод. Проблемы перевода в родном языке не отличаются от проблем так называемого радикального перевода, за исключением тех случаев, когда прерывание омофонического перевода оказывается желательным.

В защиту бихевиористской философии языка Дьюи я настойчиво предупреждаю, что непознаваемость референции не означает непостижимости факта, здесь вопрос не о факте. Однако если это действительно вопрос не о факте, то непознаваемость референции может быть замечена даже еще ближе, нежели при общении с ближним, мы можем обнаружить ее и у самих себя. Если осмысленно говорить о себе, что, имея в виду кроликов и формулы, я не имею в виду кролика, находящегося в поле зрения, и гёделевские номера, то столь же осмысленно говорить это и о ком-нибудь другом. Ведь не существует, как говорил Дьюи, личного языка.

Мы, кажется, поставили себя в весьма абсурдное положение, в котором отсутствует какое-либо различие – межлингвистическое и внутрилингвистическое, объективное и субъективное – между ссылками на кроликов или ссылками на части кролика или его

попаданием в поле зрения, между ссылками на формулы или ссылками на их гёделевские номера. Конечно же, это абсурдно, ибо отсюда следует, что нет разницы между кроликом и каждой его частью или его присутствием в поле зрения и нет разницы между формулой и ее гёделевским номером. Референция кажется теперь бессмысленной не только при радикальном переводе, но и при общении на родном языке.

Намереваясь разрешить это недоумение, начнем с того, что представим себе самих себя, свободно владеющих родным языком со всеми его предикатами и вспомогательными приспособлениями. Наш словарь включает выражения “кролик”, “часть кролика”, “кролик в поле зрения”, “формула”, “номер”, “бык”, “крупный рогатый скот” включает двуместные предикаты тождества и различия, а также другие логические частицы. В этом языке мы можем сказать множеством слов, что это формула, а то номер, это кролик, а то часть кролика, что этот и тот — один и тот же кролик, а эта и та — различные части. Сказать именно теми словами. Эта сеть терминов и предикатов, а также вспомогательных приспособлений представляет собой, если употреблять жаргон физического релятивизма, систему отсчета, или координатную систему. Относительно нее мы можем осмысленно и отчетливо говорить и действительно говорим осмысленно и отчетливо о кроликах и их частях, номерах и формулах. Далее... мы обдумываем альтернативные денотации для знакомых нам терминов. И начинаем понимать, что искусная перестановка этих денотации, сопровождающаяся компенсирующими допущениями в интерпретации вспомогательных частиц, может вместить все речевые диспозиции. Мы столкнулись с непрозрачностью референции, примененной к нашей собственной референции. Эта непрозрачность делает

референцию бессмысленной. Это справедливо: референция бессмысленна до тех пор, пока она не соотнесена с некоторой координатной системой. В этом принципе относительности заключено разрешение нашего недоумения.

Бессмысленно спрашивать вообще, ссылаются ли термины “кролик”, “часть кролика”, “номер” и т.д. действительно на кроликов, кроличьи части, номера и т.д., а не на некоторые бесхитростно переставленные денотаты. Такой вопрос бессмысленно ставить абсолютно, мы можем осмысленно задавать его только относительно некоторого предпосылочного языка. Когда мы спрашиваем: “кролик” действительно относится к “кроликам”? — то правомерен контрвопрос: в каком смысле слово “кролик” относится к “кроликам”? — и таким образом начинается регресс. Мы нуждаемся в некотором предпосылочном языке, чтобы остановить регресс. Предпосылочный язык дает нам искомый смысл (query sense), хотя бы относительный смысл, относительный в обращении к этому предпосылочному языку. Вопросать о референции каким-либо абсолютным способом — почти то же самое, что вопрошать об абсолютном положении, абсолютной скорости, а не о положении и скорости относительно данной системы отсчета. Это во многом походило бы на вопрошание о том, что никогда нельзя было бы в действительности обнаружить, а именно, может или нет наш ближний видеть мир исключительно вверх ногами или в иных, дополнительных к нашим, цветах.

Итак, мы нуждаемся в предпосылочном языке, чтобы осуществлять к нему регресс. Но не вовлекаемся ли мы теперь в бесконечный регресс? Если вопросы о референции, обсуждаемой нами, осмысленны только относительно предпосылочного языка, то, очевидно,

вопросы о референции для предпосылочного языка в свою очередь осмысленны относительно некоторого дальнейшего предпосылочного языка. Описанная таким образом ситуация звучит как безнадежная, но фактически она мало отличается от вопросов о пространственной координате и скорости. Когда нам даны пространственная координата и скорость относительно данной системы координат, мы в свою очередь всегда можем спросить о положении начала этой системы координат и ориентации ее осей, и нет предела последовательности дальнейших координатных систем, которые могли бы приводиться в ответ на последовательность таким образом формулируемых вопросов.

На практике, конечно, мы останавливаем регресс координатных систем чем-то вроде указания пальцем. И на практике мы, обсуждая референцию, останавливаем регресс предпосылочных языков, достигая нашего родного языка и принимая его слова за чистую монету.

Ну, хорошо, что касается положения и скорости, то указание пальцем практически прерывает регресс. Но что можно сказать о положении и скорости безотносительно к практике? Что будет с регрессом тогда? Ответом, разумеется, является реляционная доктрина пространства; не существует абсолютных положения и скорости; существуют лишь отношения координатных систем друг к другу и в конечном итоге предметов друг к другу. И я думаю, что аналогичный вопрос, касающийся денотации, требует аналогичного ответа, а именно, реляционной теории о том, что представляют собой объекты теории. Смысл имеет вопрос не о том, что собой представляют объекты теории с абсолютной точки зрения, а о том, как одна теория объектов интерпретируется и переинтерпретируется в другую.

Речь не идет о непрозрачности самого предмета как такового, т.е. не о том, что предметы неразличимы, если неразличимы их свойства. Не этот вопрос нуждается в обсуждении. Вопрос, подлежащий обсуждению, гораздо лучше выражен в загадке, видит ли кто-нибудь мир вверх ногами, или видит ли кто-нибудь мир окрашенным в иные цвета, дополнительно к нашему цветовому восприятию, ибо предметы могут непостижимым образом изменяться, тогда как все их свойства останутся при них. В конце концов кролик отличается от части кролика и от кролика, находящегося в поле зрения в данное время, не как голый предмет, а в отношении своих свойств; и формулы отличаются от номеров в отношении их свойств. Наша рефлексия заставляет нас понять, что к загадке, о которой мы говорили, следует относиться со всей серьезностью и помнить, что мораль, извлекаемая из нее, имеет широкую область применимости. Повторю еще раз. Релятивистский тезис, к которому мы пришли, состоит в следующем: нет смысла говорить о том, что представляют собой объекты теории сами по себе, за пределами обсуждения вопроса о том, каким образом интерпретировать или переинтерпретировать одну теорию в другую. Предположим, мы работаем внутри некоторой теории и таким образом трактуем ее объекты. Мы делаем это, используя переменные данной теории, значениями которых являются эти объекты, хотя и не существует того подлинного смысла, в котором этот универсум может быть специфицирован. В языке теории существуют предикаты, посредством которых одна часть этого универсума отличается от другой, и эти предикаты отличаются один от другого чисто по тем ролям, которые они играют в законах теории. Внутри такой предпосылочной теории мы можем показать, как некоторая субординированная теория, чей универсум является какой-то частью предпосылочного универсума,

может путем переинтерпретации быть сведена к другой субординированной теории, универсум которой будет меньшим по сравнению с первой частью. Такой разговор о субординированных теориях и их онтологиях осмыслен, но лишь относительно предпосылочной теории с ее собственной примитивно выбранной и в конечном счете непрозрачной онтологией.

Итак, разговор о теориях поднимает проблему формулирования. Теория представляет собой множество полностью интерпретированных предложений (точнее, оно является дедуктивно замкнутым множеством: включает все свои собственные логические следствия, поскольку они выражены в тех же самых обозначениях). Но если предложения теории полностью интерпретированы, то, в частности, области значений их переменных установлены. Почему же тогда бессмысленно говорить, каковы объекты теории?

Мой ответ состоит в том, что мы не можем иначе, чем в относительном смысле, требовать, чтобы теория была полностью интерпретирована. Если вообще рассматривать нечто как теорию. Специфицируя теорию, мы должны полностью своими собственными словами охарактеризовать, какие предложения должны включаться в теорию, какие предметы должны служить в качестве значений переменных и какие предметы следует брать в качестве удовлетворяющих предикатным буквам; таким образом, мы действительно полностью интерпретируем теорию относительно наших собственных слов и относительно нашей всеохватывающей домашней (home) теории, лежащей за ними. Но эта интерпретация фиксирует объекты описываемой теории только относительно объектов домашней теории; и последние могут в свою очередь рассматриваться на предмет их интерпретации.

Возникает искушение заключить, что просто бессмысленно пытаться высказываться обо всем в нашем универсуме. Ведь такая универсальная предикация получает смысл, только когда она оснащена предпосылочным языком более широкого универсума, где эта предикация более не универсальна. В принципе это известная доктрина, доктрина о том, что отсутствует собственный (proper) предикат, истинный на всех предметах. Мы все слышали о том, что предикат осмыслен только при сопоставлении с тем, что он исключает, и, следовательно, бытие истинным на всех предметах сделало бы предикат бессмысленным. Но, конечно же, эта доктрина ложная. Ясно, например, что самотождественность не может отвергаться как бессмысленная. По этой причине любое утверждение о факте, как бы brutally осмысленным оно ни было, может быть искусственно переведено в форму, в которой оно высказывается о всех предметах. Например, просто сказать о Джоунзе, что он поет, значит сказать обо всем, что отлично от Джоунза и от песнопения. Лучше мы поостережемся отречься от универсальной предикации, чтобы не попасть в сети, заставляющие отречься от всего, высказываемого обо всем.

Карнап принял промежуточную линию в своей доктрине универсальных слов (Allwörter), изложенной в “Логическом синтаксисе языка”. Он действительно трактовал предикаторство универсальных слов как “квазисинтаксическое”, как предикацию только по обычаю и без эмпирического содержания. Но универсальные слова для него — не просто любые универсально истинные предикаты, вроде “другое, чем Джоунз и песнопение”. Они суть специальная порода универсально истинных предикатов, таких, которые универсально истинны в силу абсолютных (явных)

значений их слов, но не благодаря природе. В его последующих работах доктрина универсальных слов приняла форму различия между “внутренними” вопросами, в которых теория овладевает фактами о мире, и “внешними” вопросами, в которых люди постигают относительное достоинство теорий¹⁰⁾.

Могли бы эти различия Карнапа пролить свет на онтологическую относительность? Коль скоро мы обнаружили, что не существует абсолютного смысла в высказываниях о содержании теории, будет ли осмысленной для нас нефактуальность того, что Карнап назвал “внешними вопросами”? А коль скоро мы обнаружили, что высказывания о содержании теории имеют смысл лишь относительно некоторой предпосылочной теории, будет ли тогда осмысленной фактуальность внутренних вопросов предпосылочной теории? На мой взгляд, прояснение этих вопросов безнадежно. Карнаповские универсальные слова – это не универсально истинные предикаты, но, как я сказал, это особая порода; но что отличает ее как особую породу, не ясно. Я различил их, сказав, что они универсально истинны исключительно в силу значений, а не природы; но это различие весьма сомнительно. А говорить о “внутренних” и “внешних” вопросах – тоже не выход.

Какие-либо различия между типами универсальных предикатов – нефактуальными и фактуальными, внешними и внутренними – не проясняют онтологическую относительность. И это не вопрос универсальной предикации. Если вопросы, касающиеся онтологии теории, абсолютно бессмысленны и становятся осмысленными только относительно некоторой предпосылочной теории, то это, вообще говоря, не в силу того, что предпосылочная теория имеет более широкий универсум. Предположить, что это так, очень

соблазнительно, но, как я сказал несколько выше, это не верно.

То, что делает онтологические вопросы бессмысленными, если они рассматриваются абсолютно (а не относительно),- это не их универсальность, а их свойство быть логическим кругом. Вопрос в форме “Что есть F?” (“What is an F?”) может получить ответ только обращением к следующему термину “F есть G” (“An F is a G?”). Ответ имеет только относительный смысл: смысл, относительный к некритическому принятию G.

Мы можем изобразить словарь теории содержащим логические знаки, такие, как кванторы, знаки истинностных функций и тождества, а также дескриптивные или нелогические знаки, которые, как правило, являются сингулярными терминами, или именами, и общими терминами, или предикатами. Допустим, далее, что в предложениях, составляющих теорию, т.е. истинных в этой теории, мы абстрагируемся от значений нелогических терминов и от областей значения переменных. Мы останемся с логической формой теории или с тем, что я называю теоретической формой (theory-form). Теперь мы можем интерпретировать эту теоретическую форму заново, подбирая новый универсум, который будет пробегать ее квантифицированные переменные, приписывая объекты из этого универсума именам, выбирая подмножества этого универсума в качестве экстенсионалов одноместных предикатов, и т.д. Каждая такая интерпретация теоретической формы называется ее моделью, если эта форма истинна при этой интерпретации. Какая из этих моделей подразумевается в данной реальной теории, не может, разумеется, быть угадано по ее теоретической форме. Предполагаемые референции имен и предикатов должны узнаваться скорее путем остенсии или, может

быть, путем переформулировки в каком-либо прежде знакомом нам словаре. Однако первый из двух названных способов оказывается неубедительным, поскольку даже если оставить в стороне неопределенность перевода, касающуюся тождества и других логических слов, существует проблема смещенной остенсии. Единственным нашим прибежищем тогда остается переформулировка в некотором ранее известном словаре. Но ведь это онтологическая относительность. Спрашивать о референции всех терминов нашей всеохватывающей теории бессмысленно просто из-за недостатка дальнейших терминов, относительно которых задают вопрос или отвечают на него.

Тем самым бессмысленно в пределах теории говорить, какая из различных возможных моделей нашей теоретической формы есть реальная или подразумеваемая модель. Однако даже здесь мы можем еще придать смысл наличию многих моделей. Ибо мы можем показать, что для каждой из моделей, какой бы неспецифицированной она ни была, должна существовать другая, которая будет ее перестановкой или, может быть, сужением.

Пусть, например, наша теория чисто нумерическая. Ее объектами являются только натуральные числа. В пределах этой теории бессмысленно говорить, какая из различных моделей теории чисел действительна. Но, далее оставаясь в пределах этой теории, мы можем заметить, что какими бы ни были 0, 1, 2, 3 и т.д., теория остается истинной, если 17 в этом ряду будет передвинуто на роль 0 и 18 передвинуто на роль 1 и т.д.

В самом деле, онтология дважды относительна. Определение универсума теории оказывается осмысленным лишь относительно некоторой предпосылочной теории и лишь относительно некоторого выбора способа перевода одной теории в другую. Обычно,

конечно, предпосылочная теория есть просто содержательная теория, и в этом случае вопрос о способе перевода не возникает. Но ведь это лишь вырожденный случай перехода – случай, когда правило перевода является омофоническим.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Витгенштейн Л. Философские исследования (отрывок) / Пер. с нем. С.А. Крылова // Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. XVI. С. 79-154 (см. также Витгенштейн.Л. Философские работы. Часть 1. /Пер. с нем. М.С.Козловой //М., Гнозис,1994. С.75-320).

Dewey J. Experience and Nature. La Salle. Ill. Open Court, 1925.

Quine W.V.O. Word and Object. Cambridge (Mass.), 1960

Wilson N.L. Substances without Substrata // Review of Metaphysics. 1959. Vol XII, № 4.

Wittgenstein L. Philosophical Investigations. N.Y.: Macraillan, 1953.

КОММЕНТАРИИ

¹⁾ В. Куайн указывает на ту традицию в философской мысли, которая стоит за ним (см. Вводные замечания).

²⁾ Речь идет о концепции соотношения языка и мира, изложенной в “Логико-философском трактате” Л. Витгенштейна. В нашей литературе эта концепция иногда именуется концепцией изоморфизма. “Совокупность предложений есть язык... Предложение – образ действительности... Предложение показывает логическую форму действительности” (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. С. 44, 45, 51).

³⁾ Парадигмальных – здесь достаточно простых и наглядных, чтобы служить характерными примерами.

4) Предикамента (predicamenta) – основная категория в отличие от производной (предикамбилии). Здесь: область действительности, выделенная по способу определения путем остенсии, т.е. указания пальцем.

5) Традиционно в семантике различают два уровня значения термина или имени: смысл и значение, концепт и денотат. Вторым термин обозначает класс предметов, обозначаемых данным термином (именем), первый – ту информацию об этом классе, которую несет термин (имя). В зависимости от концепции семантики смысл этой пары меняется и вводится иная терминология. У Куайна значение – тот способ поведения, который отвечает данному имени, референция, экстенционал – тот предмет, к которому относится это имя. Куайн подчеркивает здесь, что неопределенность радикального перевода означает не просто неопределенность значения, но и неопределенность референции, невыясняемость предмета, к которому относится имя.

6) Понятие геделевского номера вводится следующим образом “По чисто техническим соображениям нам будет удобнее рассматривать формализацию системы Z в форме, несколько отличной от описанной выше... Согласно новым правилам образования, имеется ровно 9 исходных символов

$?, x, |, \sim, ?????????????$

Сопоставим этим символам, взятым, скажем, в перечисленном порядке, цифры от 1 до 9, а каждому выражению (конечной последовательности символов) сопоставим в качестве геделевского номера число, записываемое соответствующей последовательностью цифр. Такое сопоставление является, очевидно, взаимно однозначным” (Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. С. 359).

7) Куайн здесь следует Ч Пирсу, который использует термин “token” для обозначения знаков в конкретном смысле (знаки, написанные, начертанные и т. д.) и термин “types” для знаков (см.: Тондл Л. Проблемы семантики. М.: Прогресс, 1975. С. 67. Примечание в сноске).

8) Протосинтаксисом Куайн называет простейшую синтаксическую систему, образующую остов любого синтаксиса (вспомним, что задать синтаксис значит задать алфавит (систему исходных символов) и правила образования формул из этих символов).

Куайн по сути дела доказывает следующую простенькую теорему: если в составе протосинтаксиса есть выражение x^u , то в нем возникает внутреннее противоречие. Действительно, пусть

$$x = \{M, M, M, \dots\},$$

$$u = \{M, M, M, \dots\}.$$

Возможно, в тексте пара ММ никогда не встречается, а встречаются другие цепочки символов. Тогда x^u – пустое множество. Оно тождественно всякому другому пустому множеству. Таким пустым множеством может быть, например, z^u , где $z = \{K, K, K, \dots\}$ и $K \neq M$, если комбинация КМ – тоже нигде не встречается. Но, по закону протосинтаксиса, если $x^u = z^u$, то $x = z$, следовательно, $M = K$, что противоречит выбору К.

9) Поясним содержание последних четырех абзацев. Только экстремистский номинализм, имеющий дело исключительно с единичными предметами и избегающий какой-либо ассоциации с общими сущностями, позволяет указать определенный универсум протосинтаксиса. Этим универсумом будут начертанные на бумаге знаки, причем каждый знак сугубо индивидуален (например, два у в только что прочитанном Вами слове сугубо – два разных значка, а два у в его завыченном имени – еще два).

Однако подход экстремистского номинализма ведет к бессмыслице (об этом говорит сформулированная в примечании 8 теорема). Приходится допускать, оставаясь номиналистом, минимальную общность. Но это уже ведет к двум (как минимум) универсумам протосинтаксиса. Один из этих универсумов состоит из последовательностей знаков, а другой – из знаков, пронумерованных гёделевскими номерами. Выбрав второй из них как более простой, мы, однако, не достигаем какой-либо однозначности. Дело здесь хотя бы в том, что само понятие натурального числа эксплицируется по-разному (см. Вводные замечания).

¹⁰⁾ “Слово называется универсальным, – пишет Карнап, – если оно выражает свойство (или отношение), которое аналитически принадлежит всем объектам рода, причем два объекта приписываются одному и тому же роду, если их обозначения (*designations*) принадлежат тому же синтаксическому роду” (Carnap R. *The Logical Syntax of Language*. 1937. P. 293). Позже в концепции языковых каркасов аналогичные функции стали выполнять онтологии, диктуемые аналитическими предложениями, составляющими эти каркасы.